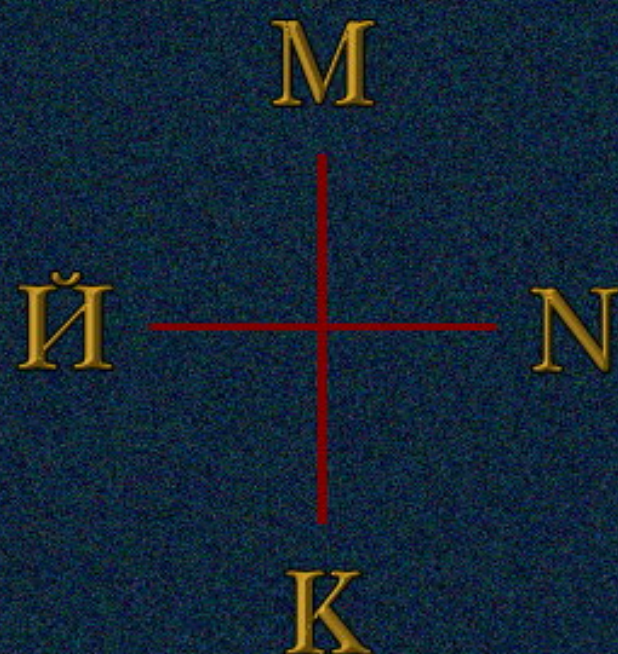


МАЙК
ЙОГАНСЕН



ПУТЕШЕСТВИЕ
УЧЕНОГО
ДОКТОРА ЛЕОНАРДО
И ЕГО БУДУЩЕЙ
ЛЮБОВНИЦЫ
ПРЕКРАСНОЙ АЛЬЧЕСТЫ
В СЛОБОЖАНСКУЮ
ШВЕЙЦАРИЮ

БИБЛИОТЕКА АВАНГАРДА

XLV



Salamandra P.V.V.

Йогансен Майк (Йоганссен М. Г.)

Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию. Пер. с укр. и прим. М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2023. — 114 с., илл. — (Библиотека авангарда. Вып. XLV).

Тотальная пародия на рыцарский роман, роман путешествий, авантюрный роман, предвестие магического реализма, гротеск и трансформация приемов вертепного театра... Это лишь некоторые исследовательские оценки экспериментальной фантастическо-приключенческой повести видного деятеля украинского «расстрелянного Возрождения» — поэта, писателя, литературоведа, драматурга, сценариста и мистификатора Майка Йогансена (1895-1937) «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию». Печатавшееся по частям в 1928-1932 гг. «Путешествие» справедливо считается лучшим прозаическим достижением Йогансена. В книгу также вошла титульная новелла «Семнадцать минут» из сборника рассказов 1925 г.

**Майк
ЙОГАНСЕН**

**ПУТЕШЕСТВИЕ УЧЕНОГО
ДОКТОРА ЛЕОНАРДО
И ЕГО БУДУЩЕЙ
ЛЮБОВНИЦЫ
ПРЕКРАСНОЙ
АЛЬЧЕСТЫ**

**в Слобожанскую
Швейцарию**

Salamandra P.V.V.



**ПУТЕШЕСТВИЕ УЧЕНОГО
ДОКТОРА ЛЕОНАРДО**

Coelum, non animus mutant qui trans mare currunt.

...only dull, thick-headed, loquacious idiots. Thus, landscape cannot be adequately treated in the literature in the usual descriptive way. But if some writer should by chance come across the idea of shifting the reciprocal roles of the landscape and the acting persons, it would be quite a different thing. The persons, treated as mere cardboard puppets, as moving decorations can nevertheless impart proper movement to a description of a landscape (because of the natural tendency of the reader to follow their ways, as if they were real living people) and so a «Landscape-novel» could be made quite readable. But such a thing has still never been deliberately attempted.

(From an unpublished essay on «Landscape in the Literature» by the Author. Quoted for the use of critics only).

ПРОЛОГ

I

ПОДОРОЖ! ПУТЕШЕСТВИЕ! WANDERUNG! TRAVEL! VOYAGE!

— Даже тот камень, потрескавшийся и сонный, что лежит между двумя старыми дубами у обрывистого берега лесного Донца, по каковому камню путешествуют очень деятельные рыжеватые муравьи — и он путешествует.

Человек же — не камень. Человек хочет путешествовать хотя бы по собственной квартире, а тем более в дальние края.

Тот, кто сегодня, немедленно, в этот самый момент не едет в Индию — тот лишен элементарного человеческого любопытства! — так сказал один товарищ, когда его спросили, почему он проводит весь свой век исключительно у себя в комнате. И, сказав это, он, не вставая с кровати, вытащил из кипы книг полный каталог нарезных ружей, как магазинных, так и автоматических, фирмы «Уэбли Скотт» и попросил больше ему не мешать.

Рассказывают также, что однажды компания веселых молодых людей, феодалов и буржуа, путешествовала по городам и весям бывшей Российской империи с целью выяснить точно и подробно, какая закуска лучше всего подходит к водке. В каждом пункте путешествия молодые феодалы и буржуа выпивали, закусывали местным способом и, будучи разнесены по своим номерам лакеями, на следующее утро аккуратно записывали свои впечатления от закуски, указывая, насколько она облегчала дело выпивания. К сожалению, революция не позволила им опубликовать результаты исследования, и люди никогда не узнают, какая же закуска к водке самая лучшая: то ли рыбец азовский, то ли селедка каспийская, то ли пельмени сибирские. И вряд ли стоит думать, что неэстетная и утилитаристическая советская власть выделит деньги на подобную научно-исследовательскую работу.

Впрочем, бывает и теперь, что люди, вернувшись из-за границы, только и могут рассказать о том, как устроены ванны в немецких отелях, как обедают в Париже, как одеваются лакеи в Лондоне и как кусаются клопы в гостиницах Испании. Они сопрягались с европейским пролетариатом в телах проституток и стимулировали пролетарское движение, обещая шоферу две марки на чай, чтобы тот быстрее ехал. Они вернулись на советскую родину в европейских штанах, с карманами, набитыми гигиеническими резиновыми изделиями.

Что ж, и это путешествие. Только я взялся бы устроить для такого гражданина морскую поездку куда дешевле.

Я бы напоил его водкой и дал бы ему на закуску ровно по одной оливке на стакан. Далее я снял бы с него европейские штаны и посадил бы его задом в бочку с соленой водой. Потом, ритмически покачивая его в бочонке, я ждал бы, пока он не начнет путешествовать по морю в десятибалльный шторм. Его возгласы звучали бы как нецензурные команды капитана, и он вскоре добрался бы до известного латвийского порта, фигурирующего в бородастых анекдотах на эту тему. Не правда ли, друг Родольфо?

Так говорил путешественник дон Хозе Перейра своему другу, ирландскому сеттеру Родольфо, идя с ним вдвоем по степи. Родольфо, до сих пор не слишком внимательно слушавший длинную речь своего старшего приятеля (ибо в степи реяли ароматические портреты разнообразных зайцев, меж ними внезапно выплывал образ дрофы, ярко обрисованный тремя запахами, конкретный и рельефный, как меццо-тинто, и не попадалось квадрата, куда не были бы вделаны нежные миниатюры бесчисленных перепелов), небрежно оторвался от кинематографического экрана запахов и официально, но довольно любезно помахал хвостом. Однако, увидев, что Хозе не стал снимать с плеча свой «зауэр», Родольфо понял, что речь Перейры носила чисто философский характер и что вернисаж запахов еще не дошел до его сознания. Это не удивило Родольфо — он-то давно знал, что дон Хозе Перейра, его старший приятель, был слеп на запахи до такой степени, что ужасающий, гнетущий, ядовитый химический смрад, который издавали его дамы, не мешал Дону Хозе сидеть с ними в одной комнате, целовать им руки, у него не болела от этих благовоний голова, а порой, выпроводив поздно ночью такую даму, он долго еще шмыгал носом, а на лице его застывало блаженное выражение наслаждения.

Приблизительно так размышлял Родольфо, снова погружаясь в радужные краски запахов, а дон Хозе Перейра, довольный тем, что Родольфо его выслушал и с ним согласился, продолжал:

— Мы с тобой, рыжий друг Родольфо, совершаем теперь путешествие медленное, но до краев полное запахов, образов и впечатлений («Для кого полное, а для кого и нет», — скептически подумал Родольфо, услышав последние слова). Ты должен согласиться с тем, что чем медленнее путешествие, тем больше в нем деталей, а чем оно быстрее, тем меньше деталей и, наоборот, множатся обобщения, планы, абстракции, философемы.

Самое быстрое путешествие, по самому простому маршруту, совершает тот замшелый камень, что лежит на крутом берегу Донца под двумя вековыми дубами. Земля несет его вокруг солнца между планетами и вместе с солнцем и планетами он мчится черт знает куда, но очень далеко и быстро. Котловина, где он лежит, служит ему мягкой кабиной, и его каменная душа мыслит гигантскими абстрактными астрономическими философемами.

Теперь вспомни, как мы с тобой летели на аэроплане из Берлина в Москву, направляя свой путь на глазах степи. Планет не было видно, а солнце

стояло, как милиционер, поставленный среди голубого плеса ранней весной, чтобы селяне не ловили карпов во время нереста. Солнце стояло посреди голубого плеса, и мы видели землю.

Земля была словно рельефная географическая карта. Это была не теплая, плодородная земля, а какой-то административный взгляд на район с геологической, топографической, экономической и агрокультурной точек зрения. Речки аккуратно впадали в реки, поля делились по шестипольному принципу, лесные массивы, как положено, располагались в соответствующих местах, и люди неуклонно населяли землю в количестве стольких-то на квадратный километр.

Когда же мы сели в поезд, который куда медленнее повез нас из Москвы в Херсон, земля встала дыбом по обе стороны от нас двумя натуралистическими кулисами. Вместо горизонтальной плоскости она стала стоймя, из географической карты превратилась в театральную декорацию. Она обманывала нас блестящей галькой, камешками вдоль насыпи, она сдвигала занавес сосен, открывая маленькое уютное озерцо, она ставила на кон коня, и конь ржал на луку, она устраивала массовки торговков и молочниц на станциях — гомонили голоса и звенели динарии, падая за молоко на платформу. Но поезд трогался, и снова тянулись нерушимые декорации пейзажей — вертикальные планы земли.

Еще более медленным и красочным стало наше путешествие, когда я сел на велосипед с торбой за спиной, а ты, рыжий друг Родольфо, предпочел бежать следом. Вместо прямой дорога наша сделалась кривой и капризной, никакие рельсы не сдерживали легких колес, и земля легла в двух плоскостях — вертикальной и наземной. Суслики танцевали у дороги, ныряя в норы, пах чабрец, скарабей чинно переползал колею, и я, направив на него колесо, вкусно давил его жучиную жизнь, чирикали воробьи и, как горсть пшеницы, разбрызгивались перед велосипедом. И вздымалась пыль: шина на дороге шипела, ключи, словно металлический ручеек, журчали в сумке, полынина запутывалась между спицами и дребезжала, отмечая обороты колеса.

А теперь мы бросили велосипед на хуторе и бросили дорогу. Мы движемся совсем медленно, исчезли все планы и осталась лишь телесная, телесная жизнь. Уже не колеса, а ноги топчут пыль и траву, и зрение мое и слух и нюх до того полнятся живой жизнью, что и сказать нельзя. Потихоньку тихо идем по степи.

Переваливаясь, шатко и валко теряемся в степях. Постепенно, невольно уходим в великую волю степей. По твоей напряженной спине, по твоим горящим глазам, по твоему подвижному хвосту я вижу, рыжий мой друг Родольфо, что ты стал доподлинным степным волком. Твое детство, годы строгой учебы, прекрасное и высокое воспитание исчезли как сон пред солнцем степи. Ты, тонкий и ироничный ирландец, ты уже превратился в дикаря и охотишься в полях.

II

Тот факт, что испанец дон Хозе Перейра, по специальности своей тираноборец, и его младший друг и приятель, рыжий сеттер Родольфо, попали в таврические степи, имеет, как и повелось для всех фактов на этом и на том свете, свою причину. Ничего не бывает без причины — это называется законом причинности.

Правда, есть люди, которые этого закона не признают, а то и просто не знают. Один известный критик, например, уверял меня, что хороший стиль, блестящая фабульная конструкция, драматическое напряжение произведения, дававшиеся буржуазии долгой работой, сами свалятся под перо пролетариата, как только пролетариат, ознакомившись с политграммой Коваленко, приступит к написанию прозы. Правда и то, что критик этот жалкий, полусумасшедший истерик, но ему посчастливилось напечатать уже много знаков и за него хорошенько взялись только в последнее время.

Однако большинство людей знают и уважают закон причинности. Скажем, охотники: даже если охотник тридцать раз подряд промажет по утке, он, рассказывая об этом, всегда точно и досконально изложит тридцать веских причин, почему именно, в каждом отдельном случае, он не попал в утку. И такова уж непоколебимая добросовестность и аккуратность охотничьего мышления, что ни один охотник не согласился бы — для экономии повествовательной энергии — приводить причину лишь в тех редких случаях, когда ему удавалось попасть в утку. Для него этот факт объяснений не требует, и причин его он искать не желает.

Я же, напротив, должен установить причину, по какой Перейра и Родольфо, тираноборец и рыжий ретривер, попали в степи из далекой Испании.

Оба они были аристократического происхождения. Бабушка Родольфо, будучи еще молодой золотистой сукой, получила на выставке большую золотую медаль и такую же золотую медаль молодая золотистая сука получила на полевых экзаменах для собак. Бабушка дон Хозе Перейры, будучи еще молодой золотоволосой девушкой, золотой медали не получила, но зато вышла замуж за деда Хозе, дон Хуана Перейру, и вошла таким способом в старинную аристократическую семью, хотя и очень бедную. Единственное воспоминание о былой роскоши, золотой фамильный медальон, дон Хуан Перейра, школьный учитель, собственными руками повесил на шейку своей невесте. В медальоне веками сохранялась капля крови, выточенная Филиппом Пятым из тела прапрадеда дон Хуана Перейры. Медальон был впоследствии продан, но капля досталась по наследству нашему герою и поддерживала его на святом пути тираноборчества.

Перед отъездом своим в степи дон Хозе Перейра задумал убить генерала Примо де Ривера, тирана Испании, фашистского диктатора. Перед тем он по поручению общественных групп и частных лиц уже убил двух генералов и одного адмирала. Но поскольку генералы были очень старыми и заштатными, а с адмиралом у дон Хозе были личные счеты, он считал, что может с достоинством завершить свою карьеру, только убив настоящего тирана и после взойдя на эшафот. Так с исторической необходимостью случилось, что дон Хозе Перейра самолично, не состоя ни в какой организации, постановил убить испанского диктатора.

Перед покушением ему, однако, сильно захотелось поохотиться. Не приходилось сомневаться, что убежать после убийства Примо де Риверы у него бы не вышло. Итак, дон Хозе взял географическую карту и начал искать место для последней охоты. Чтобы не ошибиться с выбором места, дон Хозе позвонил своему другу Родольфо и показал ему карту. Родольфо, не раз уже проявлявший удивительную интуицию в охотничьих делах, ткнул носом прямо в далекие степи.

В тот же вечер дон Хозе Перейра заказал себе и Родольфо билеты на поезд. На следующее утро ему посчастливилось найти на барселонском базаре грамматику Синявского. Он не расставался с ней, пока не приехал в степи. Ему очень понравились звуки украинского языка.

— Vil-vola, kin-kona, pip-popa... — скандировал дон Хозе под ровный стук вагона.

— Dim-domu, kin-konu, bib-bobu... — декламировал он странные звучные слова, напоминавшие ему звоны барселонских колоколен. И он принимался составлять предложения:

— В чис-тім по-лі край до-роги я пере-стрі-ва-ти-му... дід... дода і даватиму йому кусень хліб... хльоба. Дід їсти-ме хліб і котити-ме біб...

И дон Хозе сложил стихотворение:

Я покинув Барселону,
— Кін-кону, лін-льону,
Не побачу її зроду.
— Лід-льоду; дід-доду.

III

Была уже середина августа, а Дон Хозе Перейра и его друг, рыжий сеттер Родольфо, все шли по далеким степям. Была также середина дня, и солнце стояло у середины неба. Они шли прямо на геодезическую вышку, за которой начинались утиные места. Так сказал херсонский хозяин дон Хозе,

крестьянин Середа. Дон Хозе и Родольфо были в середине своего пешего путешествия, посреди далекой степи.

Бесконечно широка была та степь, везде лежала степь, позади, по сторонам и впереди. Степь лежала чашей вокруг них, круглая и бесконечная. Обитатели гор и холмов, высоких берегов рек и сырых лесов, идя здесь в вечном кольце, не увидели бы степи. Ее не было. Степь — это то, чего нет. Нет ни гор, ни рощ, ни озер. Есть одна дикая чаша, над которой дрожит мистическое поблескивающее марево. Молча стягивается медная кромка вселенской чаши, и по ней, как по рельсам, кружат обручи горизонтов. И должен путник дойти до середины дня в степи, чтобы услышать мириады ее хмельных голосов.

В степи стоял гул. Гул гудел из-под земли, из-под корней пыльных закоряченных растений, гул упал с неба, бежал наперегонки с шумом травы, маревом дрожал по утрам, умирал в шепоте прошлогодних сухих стеблей и снова рос: шелестел в траве, разбухал диким монотонным монгольским оркестром, гудел и глушил слух, бешеными крыльями бился о медную необоримую кромку, звенел, визжал, кричал птицей и снова, постепенно стихая, уходил в тихий шум трав, усыхал и исчезал в земле, оставляя после себя высохшие слезы солончаков.

Перейра и Родольфо шли, как спали. На отшибе справа виднелись гигантские фигуры людей, ходивших вокруг колоссальных снопов. Люди грузили возы пшеницей, и дон Хозе Перейра, не очень уверенно разбиравшийся в политической экономии, принял их за пролетариат.

IV

Я, автор этой повести и отец дон Хозе Перейры и его приятеля, рыжего сеттера Родольфо, равно как и многих других персон, реальных и мнимых, что есть в этой повести, и многих вещей в ней, показанных весьма наглядно и подробно, я так же, как дон Хозе, очень люблю и уважаю пролетариат, только гораздо глубже и полнее.

Я люблю и уважаю пролетариат, во-первых, за то, что он был моим первым товарищем в детстве и был единственным товарищем, который мне не изменил и не покинул меня теперь, когда я вырос, когда другие товарищи детских лет моих стали бурбонами, или профессорами, или бухгалтерами, или историками литературы.

Я люблю пролетариат за то, что он не заставляет меня продавать мое перо и меня, небогатого и нефешенебельного, не одетого в вечерний черный костюм и не обученного манерам, не покидает и не перестает считать своим товарищем.

Я люблю пролетариат за то, что он взял меня за руку и ведет с собой на вершины истории. Я уважаю пролетариат за то, что он — мой вождь и мой учитель, и я, слабый и капризный интеллигент, никогда не брался его нагло чему-либо поучать и беззастенчиво претендовать на роль его вождя. Я уважаю пролетариат за то, что в своих книгах он научил меня политической экономии и философии и устами рабочей молодежи поведал мне о роли поэзии в процессе строительства. Как и мой товарищ-пролетариат, я люблю футбол, американские фильмы, авантюрные романы, рыбалку, охоту и природу.

Но больше всего я люблю пролетариат за то, что он — Мастер, за то, что он творит Вещь, и одним этим может сотворить мир. Я признаюсь, что я давно и безнадежно влюблен в Вещи, что я даже покупал инструменты, которыми не мог или не умел пользоваться, только для того, чтобы изо дня в день вынимать их из ящика стола и рассматривать в течение долгих часов. Я давно знаю наизусть десятки каталогов фотографических камер, ружей, велосипедов, биноклей, объективов, и если мне попадется каталог секстантов или микроскопов, с которыми я не умею обращаться, я точно так же выучу этот каталог наизусть. И когда я пишу, я помню, что мой Мастер, мой Товарищ хочет, чтобы я создавал своим ремеслом хорошие Вещи. И я надеюсь, что в своем небольшом ремесле я стану таким же Мастером, как мой товарищ-пролетариат.

Так что дон Хозе, каковой и сам был прекрасной Вещью, потому что он был высоким, веселым, сильным и ленивым тираноборцем, однако не умел делать вещи, тоже очень уважал пролетариат. Увидев людей, накладывавших снопы на возы, и решив, что это пролетариат, он полюбил этих людей и стал приближаться к ним.

— Дорогой и рыжий друг Родольфо, — сказал дон Хозе. — Помнишь, как я тоже был пролетарием, когда возил угли на корабле в Барселоне? На вокзале я грузил черные глыбы на подводу и вез уголь через Барселонету на Муэля Нуэва и до Муэля ди Леванте, где стояли крейсера. Там я останавливал лошадей и нес уголь на крейсер. Я тоже был пролетарием, мой дорогой рыжий друг Родольфо!

Родольфо остановился и оглянулся на дона Хозе. Такая примитивизация понятия пролетариата ему не понравилась, но, привыкнув к детским сентенциям своего приятеля, он не высказался, а только слегка неохотно замахал хвостом.

— Помнишь, рыжий друг Родольфо, — сказал дон Хозе, — как впервые за много-много лет в Барселоне выпал снег? Я целый день возил уголь на Муэля Нуэва и возвращался домой, вконец усталый и изможденный. На улицах лежал снег, и улицы те сами плыли мимо меня, когда я шел по Гран Виа дель Маркес дель Дуэро. И вот каковы были мои чувства, рыжий друг Родольфо, если уложить их в строки украинского стиха и украсить в конце каж-

дой строки отчасти оригинальними, отчасти стародавними рифмами и ассонансами. Слушай:

Чи вмерли вулиці, чи я їду сам
З робочим днем за плечима?
— За берегом міста — ліса,
За лісами ліса нерушимі.

Дзвенять вогні і ринуть у ніч,
Дзвінок заївсь у залізо.
Їду і не втямлю, не злічу облич —
Вже пізно.

Чи вмерли вулиці, чи я їду сам
До себе в самітні очі?
За берегом міста — ліса,
За лісами незміряні ночі.

Не чую нічого. В січневу ніч
Заблукав я, осінній олень.
Не спадав сніг із пізніх пліч,
За плечима поле і поле.

— Таковы были мои чувства, дорогой друг Родольфо, — сказал Дон Хозе, — когда я был пролетарием. Неужели и это тебя не убеждает?

Родольфо снова остановился и на этот раз уже не замахал хвостом. Он с долгим немым упреком взирал на дона Хозе. Дон Хозе подошел к нему и ласково погладил его лохматую шею за серебристыми ушами. Они стояли посреди степи. Щир, щирей и щирца, амаранты Испании дон Хозе, шептались у них под ногами. Снова нарастал гул и качался в степи, переполнял слух и звенел в душе. Далеко справа немые силуэты гигантских людей ходили вокруг конических снопов. Дон Хозе повернул к себе голову Родольфо и молча посмотрел ему в глаза.

— Как вам не стыдно, — вдруг сказал Родольфо. — Как вам не стыдно рифмовать «очи» и «ночи»!

V

Друзья шли уже низом. Вместо гор и пропастей в степи бывают низ и верх. На вид они ничем не отличаются, но старый степняк сразу замечает,

что наверху горизонт шире и травы растут не те, что внизу. Внизу травы немного зеленее и позже засыхают. Великаны и копны были уже недалеко. Дон Хозе видел, что Родольфо стал каким-то серьезным и совсем перестал слушать его речи.

«Зайцы, — подумал дон Хозе. — Но в августе в Украине не разрешено стрелять зайцев. Впрочем, может, это куропатка или перепел». Дон Хозе снял с плеча свой «зауэр» и еще раз оглядел ружье.

С виду это был обычный бравый «зауэр» двенадцатого калибра, бескурковый. Артист-оружейник нашел бы в нем массу мелких изъянов. Он отметил бы продолговатую форму второго крючка и высказал бы мысль, что для такого тяжелого ружья конструктивнее был бы крючок почти квадратный, намного более короткий и широкий. Рассматривая накладки на замках, артист долго и задумчиво качал бы головой и не удержался бы от сентенций по поводу ручной гравировки. Он решительно заявил бы, что грубоватые линии букв и узоров ясно доказывают, что их просто травили кислотой на восковом слое, а не нанесли резцом от руки.

Далее артист, взвесив «зауэр» на среднем пальце правой руки, нашел бы, что он сбалансирован там, где кончается колодка, а значит, в семи сантиметрах от подушек. Трудно было бы ожидать, что он не вспомнил бы при этом о ружье с балансом в четыре с половиной сантиметра от подушек.

Вероятно, после этого артист-оружейник вытащил бы из кармана коробку папирос, достал бы папиросу, постучал бы ею о крышку коробки, быстрым движением загнал бы ее между губ, зажег бы спичкой и обратил бы внимание на приклад «зауэра». Сорт грецкого ореха, из которого был сработан приклад, уже сам по себе вызвал бы неопределенное выражение на его суровом лице. Тот факт, что приклад был не полирован, а только навощен, довершил бы неопределенное впечатление — артист-оружейник перегнал бы папиросу из правого угла рта в левый, и на устах его появилась бы горькая ироническая улыбка.

Но дон Хозе Перейра не был артистом-оружейником. Дон Хозе Перейра знал только, что он целый год сверхурочно пилил дрова, чтобы купить именно этот «зауэр», который целый год простоял на комиссии в барселонском магазине, куда его прислал доктор Леонардо Пацци (по-видимому, какой-то итальянец), нуждаясь в деньгах на путешествие в Слобожанскую Швейцарию.

Поэтому Дон Хозе видел только мощные дула трехкольцевой стали, только мощные патронники в восемь миллиметров толщиной, только невероятные чоки по 1,2 миллиметра каждый, только голубя на гринере, гарантировавшего дальний, кучный и сильный бой.

Солнце пылало над степью, слетало блестящими каплями на длинные дула «зауэра», перехватывало дыхание, залезало в душу и снова огненными каплями выступало на смуглой коже дона Хозе. Он весь горел и пере-

горал под солнцем. Ему казалось, что в нем понемногу сгорало все, чем он раньше жил, пылали и падали, отгорев, его мысли, привычный строй мировоззрения и навыков. Он забыл все, что он знал. Солнце выжгло его память. Он забыл, кто он такой и откуда взялся и зачем приехал. Он давно вошел в степь, а теперь степь вошла в него. Ему казалось, что то, чем он был раньше, с молниеносной быстротой убегало от него за горизонт между блестящими рельсами дул. Его «я» маячило уже на одной линии с краем неба, оно было мушкой где-то за тысячи верст от него, на самом краю безграничного пути двух зеркальных дул. Он опустил ружье, и «я» утонуло за горизонтом.

Какая-то новая кровь, пьянее и горче полыни, поплыла по жилам и ударила ему в голову. Он ясно почувствовал, что сгорел дотла и родился вновь. Он был уже не дон Хозе Перейра, интеллигент и тираноборец, а Данько Харитонович Перерва, степняк и член степного райисполкома.

VI

— Что там за *** идет низом? — сказал куркуль Щовб, повиснув на рубеле и ожидая, пока куркуль Довб не притянет рубель веревкой.

В ответ куркуль Довб зацепил рубель веревкой, согнул его еще, так что здоровенный рубель предостерегающе скрипнул, и обмотал веревку вокруг соответствующих выступов воза. После он насыпал папушного на бумажку, добился сотрясением бумажки математически ровной линии, загнул один край, свернул самокрутку, высунул язык и в тот момент, когда белая бумага, пробегая по мокрому языку, стала прозрачной, как стекло, сказал:

— А тебе что за дело? Он ведь зайцев не бьет. Побойтся не в срок стрелять, *** его ***!

Нагрузив свои возы, подошли межой, чтобы перекурить, куркуль Стовб и куркуль Ковб. Не доходя до Довба шагов десять, куркуль Ковб стал рассматривать одинокую фигуру охотника с собакой.

— Знаете, кто это, ребята? — сказал куркуль Ковб, не отводя руки от глаз. — Это, чтобы вы знали, бисовой души камунист, Данько Перерва. А впереди бежит его богомерзкая рыжая собака.

Все четверо начали внимательно присматриваться к фигуре охотника. Охотник вдруг остановился. Взгляд куркулей упал на его собаку. Собака замерла в ошетилившейся, невероятной позе. Охотник коротким движением поднял ружье.

VII

Когда новорожденный Данько Харитонович Перерва увидел, что Родольфо застыл перед небольшой ямкой в земле, по всему телу его пробежали и проникли в мозг холодные иглы самого сильного, самого безумного из чувств. На один неизмеримо короткий миг он ощутил, что руки его внезапно покрылись потом, и сразу забыл об этом. Медленно, почти незаметно, как минутная стрелка стенных часов, Родольфо вытягивался в направлении ямки, и ямка эта сразу стала центром степи и центром всей земли.

— Пиль, — неожиданно и жутко прохрипел Перерва. Родольфо кинулся вперед, из ямки рванулся заяц, раздался выстрел, заяц фонтаном метнулся вверх, упал и застыл на земле.

VIII

Только теперь Данько Перерва осознал, что стрелял по зайцу в середине августа. Он очумело стоял и ждал. Но вот до него донеслись какие-то длинные, непонятные звуки. Он оглянулся: четверо селян отошли от воза и что-то кричали, размахивая руками. На миг ветер утих, и Данько услышал слова.

— Зачем бьешь за-айца, *** твою ***! — снова шатнул ветер и по степи против ветра растеклось только «о-о-о». Ветер дергал слова, дробил их вдребзги и вдруг полетел на него и разом охладил его потную голову. Данько решительно шагнул к зайцу. Сделанного не вернешь. Он взял зайца в ремни, повесил «зауэр» на плечо и быстро ушел. «О-о-о», вдребзги дробил ветер слова. Данько, не оглядываясь, ровно и легко шел вперед. Он знал, что совершил непростительный грех, убив зайца в середине августа, но он также знал, что датся в руки куркулям, чтобы они с торжеством повели члена степного исполкома в город, все равно нельзя. Он уйдет от них и тогда сам явится в исполком и честно расскажет, как нечаянно убил зайца.

«О-о-о», дробил ветер осколки слов. Данько, не оглядываясь, быстро шел вперед. Он решил оглянуться назад, когда ветер перестанет доносить до него слова. И, стараясь совсем успокоиться и идти ровно, как машина, он резко, точно оборвав, перестал думать о зайце, об августе, о куркулях и вместо всего этого вспомнил стихотворение, которое давным-давно читал в книге неизвестного поэта с норвежским именем.

Степ сповила велика борода,
Веде вівса і попасає просо

У край землі, де голуба вода
Стоїть у озері підтикана і боса.

Данько глянул на небо...

А небом йдуть водяні вози
Над океаном орної країни.
Старий чумака береться за гузир
І хмарам набатовує на спини.

По берегах повстання і пісень
Над ріками радянських революцій
В далеку путь налагодився день....

Последняя строка упала где-то в полыни, и Данько не мог ее отыскать. Он напрягал память и подбирал рифму к «революцій». «Муці... руці... гнуть... каруці...» — подбирал он редкие слова и не мог вырвать строку из пыльных зарослей памяти. Ему стало страшно, по коленям проковывляла истома и налила голенища холодным маслом. Он предпринял еще одно истерическое усилие. «Штуці... розпуці... мнуть... перуці...» — мелькали ненужные, неуместные слова и не снимали с сердца тяжесть ненайденной рифмы.

Стихотворение изменило ему. Он не мог больше терпеть. Он знал, что не должен оглядываться, но больше не мог терпеть. Он украдкой оглянулся назад.

За ним, ровным полукругом, шли размеренным шагом пять гигантских фигур.

IX

Как зачарованный, Данько не мог оторвать глаз от того, на что не смел смотреть. Нагруженные снопами возы стояли далеко позади, возле них не было никого. Данько щурил глаза, пытаясь разглядеть у возов хоть один силуэт человека — и не мог. Селяне бросили работу и всем скопом гнали его куда-то за горизонт. Данько повернулся, выбрал себе точку на горизонте, чтобы идти ровно в центре грозной дуги, и пошел вперед.

Ему снова внезапно стало холодно. Теперь уже не куркули преследовали члена степного райисполкома за нарушение правил охоты, а пятеро гнали одного, оставив работу, уставшие и яростные, в пустынной степи, сами горимые ловчей жаждой, готовые на все, несмотря ни на какие последствия.

Данько выпрямился во весь рост и напруг мышцы на молодых ногах. Ноги заиграли как пружины и пошли, едва касаясь земли. Сапоги сидели хорошо, нигде не натирали и мягко слушались музыки мышц. Бережно рассчитывая силы, Данько ускорил ход ровно настолько, чтобы делать шесть километров в час. Он будет идти до ночи, но не даст себя догнать. Он посмотрел на солнце: оставалось идти еще пять часов. Тридцать километров! В гражданскую он легко делал пятьдесят с одиннадцатифунтовым нарезным ружьем на плече.

Родольфо весело бежал впереди, забегая в кустики и радуясь разнообразным, розмаринным, разбежавшимся запахам. Данько свистнул: Родольфо остановился в прыжке и посмотрел на него. Данько свистнул еще раз, Родольфо подбежал к нему и нежно подсунул шею и спину под его руку.

— Беги, Родольфо, — почти весело сказал Данько. — Мы убегали с тобой от скандала, теперь бежим от смерти. — И он легонько толкнул пса ладонью.

Х

Данько и дуга молчаливых преследователей прошли уже километров семь, идя прямо на запад. Солнце заметно увеличилось и стало слегка разбухать по краям, оно шло уже вниз, вдыхая степной дух. Теперь не было никакого сомнения в том, что селяне давно позабыли о зайце и правилах охоты и гнали охотника как дичь, как дрофу, чтобы забить его палками.

Данько снова стал размышлять. Не может быть, что его гнали наугад, просто в степь, но до сих пор не было видно, куда именно его загоняют. Как и пятеро молчаливых людей, упрямо следовавших за ним, Данько забыл про зайца. Он только чувствовал, что какой-то необычный груз оттягивает его пояс.

Много-много сотен метров он механически шел вперед и не мог понять, что мешает ему идти. Его мысли кружились вокруг конечной сцены дня. Когда на поля лягут сумерки, он в последний раз ускорит шаг, и дуга исчезнет из виду. Он пройдет еще пару километров и выберет место для ночлега. Сбросит сапоги, и роскошная легкость разольется по всему телу. Снимет с себя ружье и патронташ и подложит патронташ под голову. Отцепит зайца...

Заяц! Вот что мешает идти! Заяц давил на живот, на поясницу, на психику. Заяц — удивительное дело! — до сих пор давил на мозг, тенью сновал где-то в закоулках памяти и не давал идти спокойно и весело.

Данько, не останавливаясь, отвязал зайца и высоко подкинул его вверх. В этот миг у него промелькнула фантастическая надежда. Заяц перевернулся в воздухе и тяжело упал на землю. Пятеро преследователей не могли не

видеть его. Данько запомнил место, где упал заяц, и, не оглядываясь, пошел вперед.

Отдалившись от дуги, он снова почувствовал, как ожила абсурдная надежда, и быстро оглянулся. Шедший посередине селянин как раз пересекал участок, где упал заяц. Он наклонился — все в Данько замерло — поднял зайца — Данько остановился и с чуть ли не истерической мольбой смотрел на него. Селянин стоял с зайцем в руке и, видимо, колебался. Вдруг заяц взмыл высоко вверх, перевернулся и упал на землю.

XI

Данько лихорадочно дернулся и едва сдержал порыв броситься бежать. Фантастическая надежда тяжело упала на землю вместе с зайцем. Дуга ровно и размеренно продвигалась вперед. Никто даже не подошел к селянину в середине, никто его не окликнул, снова все шло размеренно и ровно. Где-то далеко на горизонте виднелся оставленный воз у черных округлых куч хлеба.

— Родольфо, — сказал Данько. Рыжий сеттер замер, повернув голову к другу.

— Сюда, — решительно сказал Данько. Полный охотничьего пыла, рыжий Родольфо подбежал к охотнику.

— Слушай, Родольфо. Слушай внимательно, потому что нам с тобой теперь не поздоровится, как говорит украинский народ, когда сверх привычных и нормальных тягот и бед приходится ему испытать еще какую-то непредвиденную беду.

Наше положение можно было бы кратко охарактеризовать следующим образом: нас гонят и будут гнать до ночи. Если до ночи нас не поймают, мы спасемся. Если до ночи нас догонят, то меня, Данько Харитоновича Перерву, убьют, а тебя, рыжего сеттера Родольфо, продадут где-нибудь в большом городе, и там ты каждый год непременно будешь получать на выставках золотые медали.

Да, рыжий друг Родольфо, у тебя ежегодно будут золотые медали, но ты потеряешь своего друга и товарища Данько Харитоновича Перерву. А в жилах твоего друга, милый Родольфо, очевидно, течет еще какая-то другая кровь, кроме славянской. Ты ведь знаешь, что я бью тебя тогда и только тогда, когда ты этого заслужил.

А тот казак, который будет тебе, Родольфо, за хозяина и друга, станет бить тебя в следующих случаях. Во-первых, когда он будет мазать по дичи — это раз. Во-вторых, когда будет ссориться с женой — это два. В-третьих, когда будет пьян — это три. В первых двух случаях он будет бить тебя нагайкой или арапником, а в третьем просто будет целить тебе в лицо сапогом,

стараясь попасть в нос.

Поэтому, дорогой друг, я решительно советую тебе немедленно отправиться домой, обходя по дороге всех знакомых и незнакомых людей. Жди!

Данько написал на ходу несколько слов на бумажке и привязал бумажку к ошейнику Родольфо.

— Домой! — скомандовал он после этого. Родольфо стоял, колеблясь. Он надеялся, что друг, быть может, отменит приказание и позволит остаться с ним.

Но Данько начал отвязывать от пояса ремешок.

— Домой! — повторил он. Родольфо отошел на пару шагов и снова остановился. Тогда Данько подбежал к нему и изо всех сил огрел его ремешком. Родольфо завизжал и бросился прочь.

Данько снова оглянулся. Из-за Родольфо он потерял двадцать метров. Фигуры увеличились и из черных стали цветными. Данько снял патрон-таш и высоко подбросил его вверх. Два запасных патрона он оставил в кармане и пошел вперед.

XII

Солнце уже клонилось вниз, тяжелое и потное. Оно впитало в себя водочный дух степи и теперь, красномордое, выдавало обратно горькую отрыжку. Покрасневшие губы сжимали его запыхавшуюся огненную пасть. Оно вздыхало ветрами и рычало полынной наливкой.

Данько давно уже шел, ни о чем не думая, и забыл о ногах и километрах. Ноги сами шли, и километры, отмеряя гоны, лентой рулетки разматывались из-под солнца. Пятеро преследователей так же ровно и молча шли за ним, и Данько угадывал, что их тела так же переключились на ходьбу, что в душах их погас гнев и осталось только радостное чувство движения, что, догнав, они убьют его весело и спокойно, словно сожалея, что окончилась долгая, вдохновенная, роскошная погоня.

Данько вспомнил далекий хутор, где он родился и прожил первые годы жизни. Когда он пас овец, тот хутор казался ему пятью черными навозными кучками где-то на горизонте. Там, в навозных кучках, возились его угнетатели, и он привязывал военную гильзу к деревянному ложу и пристраивал к ней курок на резинке. В руках его желтая гильза становилась шестизарядным револьвером, во главе революционного войска он гордо входил в хатки и конфисковывал всю сметану и шомполку дяди Мусия. Лишь Дунька, убедившись, что только он, Данько, и есть настоящий герой и воин, сама не принимала от него свободу и звала его есть сливы в дядином садике.

Но он отказывался идти с ней в садик и строил машину, чтобы улететь с

Дунькой на Марс и присоединиться там к инженеру Мэнни. Машина была уже готова и блестела, как новенький паровоз, и на ней были огромные и белые, похожие на гусиные крылья. Вдвоем с Дунькой они грузили в машину провизию — здоровенный кусок сала, печеного гуся, решето слив, две миски сметаны — одна для него и другая для Дуньки; в угол ставили шомполку дяди Мусия, набитую крупной дробью, чтобы обороняться от нападения, и Данько стелил себе на ночь свитку в том углу, чтобы ружье было под рукой.

Он вспоминал, какими маленькими и незначительными сделались те пять хат, когда он, комиссаром полка, возвратился с немецкого фронта. У него в самом деле появилась прекрасная манлихеровская винтовка и имелся настоящий офицерский наган. У него также были часы, но не это его теперь интересовало. Он возвратился на свой хутор бойцом и пропагандистом, ему нечего было делать у этих пяти хат, но он надеялся увидеть Дуньку. И какими незначительными ни казались теперь эти пять черных хат, встававших когда-то перед ним на горизонте, из-за них двумя ярко-голубыми глазами выглядывало далекое небо мальчишеских мечтаний и юношеских чаяний.

Но Дуньки на хуторе не было — она растаяла где-то между двумя станциями в гражданской войне во время хлебного похода. И его торжество в хуторском масштабе предстало таким ничтожным, что он в тот же вечер выехал из хутора на просторы гражданской, и пять хат в последний раз исчезли из его глаз.

Данько взглянул вперед, на горизонт. Прямо перед ним, как пять стогов, высились пять закругленных черных кучек. Он протер глаза: за пятью кучками притаились с обеих сторон еще две, три, еще целая груда хаток.

Он сразу все понял. Куркули загоняли его на степной хутор.

XIII

Следовательно, просто держа дистанцию между собой и преследователями, Данько уже не смог бы спастись. На хуторе они возьмут лошадей и собак и через час легко его поймают.

Данько сменил направление и начал подаваться левее; пройдя так метров двести, он оглянулся. Ловцы перегруппировались и обходили его с левого фланга. Данько взял еще левее, и в тот же миг крайний перебежал, а за ним и другие; Данько снова пошел прямо на хутор, и немедленно линия ловцов выровнялась в том же направлении. Крайние начали идти быстрее и уже почти поравнялись с Данько; он немного ускорил ход, идя все время прямо на хутор.

Хутор множился и вырастал. Теперь там был не десяток домов, а два,

может, и три десятка, и они тянулись вдоль длинной улицы, готовясь встретить Данько и помочь убить его. До них оставалось не больше двух километров.

Данько шел прямо на хутор и взором повстанца оценивал местность. Обойти хутор было невозможно, даже если бы преследователи дали ему на это время. Прямо перед хатами, словно клетчатая плахта, лежали поля, синие, фиолетовые и серо-седые.

Данько нацелился на самый серый прямоугольник и пошел прямо на него — это была гречиха. Метрах в трехстах от поля он снял с плеча ружье, прижал его правой рукой к бедру и со всех ног побежал вперед.

Когда на него повеяло медовым ароматом буйных полков и дивизий гречихи, он на бегу еще раз оглянулся. Все было хорошо. Ловцы спокойно, не спеша, шли вперед и даже фланговые сильно отстали — погоня заканчивалась, так как зверь окончательно растерялся и сам метнулся в ловушку.

Добежав полным ходом до гречихи, Данько упал на межу и быстро пополз на животе. С первой межи он свернул на вторую, потом подался вправо, потом влево и ползал так, пока, по его расчету, преследователи не подошли вплотную к гречишному полю. Тогда Данько прижался лицом к земле и затаился.

Ловцы, возможно, не найдут его. Если они собьются во время поисков в кучу, он без труда убежит назад от хутора по уже пройденному пути. Тогда погоня начнется снова — вместо того, чтобы закончиться в этой гречихе.

Но они могут и наткнуться на него, не позволив убежать. Тогда придется выпустить две пули вслепую и умереть.

Данько давно уже перестал бояться. Он слушал. В гречихе тихо шелестел ветер, просили пить перепела, какая-то мошकारа, сбившись роем прямо над головой Данько, однообразно журчала, как длинная пыльная дорога, как пахнет деготь, как скрипят колеса, глотая пыль. Текли, волнуясь, минуты, а ловцов все не было слышно. Порой Данько казалось, что все пятеро преследователей тихонько подошли к нему и стоят вокруг и молча смотрят на его спину. Он хотел повернуть голову и не мог. Шелестел детский ветер, спешили пить перепела, мошकारа журчала, а ловцов все не было.

Могло случиться, что они сразу пошли на хутор за собаками и подводами и людьми. А может, послали кого-то на хутор, а остальные сидят у поля и караулят, покуривая табак и болтая на сельскохозяйственные темы. Но может быть, они до сих пор ищут его. Так или эдак, но голову поднять было нельзя и нужно было смотреть в землю меж корнями гречихи. Красные стволы гречихи вздымались над горами взрытой земли, как сосны на седых дюнах, и с горы на гору в зарослях путешествовал муравей, белобокий и белогузый, и в профиль он казался Данько взмыленным, потным шестиногим конем. Он продирался между комков, поднимался на дыбы и снова бежал рысью между сосен. На самом гребне дюны что-то зашевелилось

у красного ствола — это был второй муравей, красный, как прозрачная киноварь. Он не спеша разглаживал длинные усы и собирался в путь.

Беловатый добежал до гребня и остановился, почуяв красного. Красный бросил гладить усы и не спеша шагнул вперед. Беловатый заколебался и начал поворачиваться, намереваясь убежать, но в этот момент красный уже очутился рядом с ним. Беловатый снова повернулся передом, и они стали медленно протягивать друг к другу усы. Вдруг усы сошлись и пружинами отпрянули назад, нащупав вражеское тело. Беловатый и красный сцепились клешнями.

Данько, как зачарованный, наблюдал за поединком. Оба были мощными мускулистыми воинами, беловатый немного шире и больше, красный стройней и с более крупной головой. Они стояли дыбом, сцепившись клешнями и напрягая мышцы.

Вдруг красный отделился от земли и начал сгибаться. В тот же миг оторвался от земли и беловатый. Они упали и покатались в пыли, не разжимая клешни, тела их все больше сгибались дугой, то один, то другой оказывался сверху в этой борьбе между красными стволами гречишно-соснового бора. Внезапно беловатый вскочил на ноги, согнувшись в дугу, красный висел на его клешнях. Беловатый бил им о корни сосен, возил его в пыли, снова вставал дыбом, бежал, катился, суетился, сам падал на спину и снова мотал врага между корнями. Движения его становились все быстрее и истеричнее, глаз не успевал уследить за его молниеносным мельканием, а красный все сильнее сгибался в дугу.

Но вот задок красного совсем подвернулся под тело и приблизился к клешням, беловатый начал остывать, кислота била ему в голову, он будто спросонок беспорядочно возился на одном месте. Его ноги начали дергаться, он склонился набок, как пьяный, раскрыл клешни и, взмахнув в воздухе руками, упал в пыль. Тогда красный распрямился и встал на ноги. Не обращая внимания на взмыленный труп, корчащийся в пыли у его ног, он важно выпрямился во весь рост и начал аккуратно разглаживать усы.

Он отдыхал очень долго. Данько казалось, что он никогда не перестанет отдыхать и гладить усы. Прошли десятки секунд — муравьиногречишных часов — а он все гладил усы, гладил все медленнее и нежнее. Этот спокойный ритмичный жест убаюкивал истомленную душу Данько, его клонило в сон, он отдыхал в одном темпе с победителем. И по мере того, как сердце стало биться медленнее, мысли весело завозились, цепляясь друг за друга, откусывая одна у другой хвосты, сбиваясь в кучу, всплывая, засыпая. Примчался ветерок и стряхнул в медовое море гречишного мироздания деготь, запах черного хлеба и пота. Ветерок стих, а гречиха продолжала ломаться и шуметь. Данько сразу похолодел и насторожился.

Кто-то, совсем близко, проходил мимо него по полю.

XIV

Данько замер и принялся считать шаги. Шел один человек. Значит, они все-таки искали его. Гречиха ломалась и трещала, треск приближался к голове Данько, был уже совсем близко и вдруг смолк. Данько прикипел к земле. Снова захрустела гречиха и на этот раз шум начал удаляться. Данько выждал шестьдесят секунд и с невероятной осторожностью поднял голову, глядя сквозь высокий кустик. Ловец удалялся. Его не нашли. Солнце стояло уже совсем низко над горизонтом, еще час — и можно будет скрыться навсегда. Данько выждал еще триста шестьдесят секунд и глянул смелее. Он увидел фигуры куркулей — они шли на хутор.

Минут через пятнадцать-двадцать они уже договорятся на хуторе о подводах, минут через двадцать пять-тридцать выедут из хутора с собаками. Данько оперся на локти и смотрел на преследователей. Когда последняя фигура исчезла среди хат, он пополз по направлению к хутору; прополз шагов двести, попал в овраг — это был тот самый овраг, в котором дальше располагался хутор. Данько вскочил на ноги и изо всех сил побежал оврагом прочь от хутора. Ему нужно было бежать еще сорок минут, пока не зайдет солнце, а потом он сможет отдохнуть. За сорок минут он успеет сделать где-то четыре километра.

Данько чуть замедлил бег: нужно было беречь силы. Он уже пересек в длину почти весь овраг и вот-вот должен был снова выбежать в степь. Тут он увидел двух мальчишек, раскуривавших за холмиком папироски.

— Дядя, дайте табачку, — начал было один из мальчишек и умолк. Его удивило, что дядя бежит с ружьем в руке. Данько почувствовал это и остановился. Соврать что-то было невозможно, все равно догадаются, когда выедет подвода.

— Собаки моей не видели? — спросил Данько. Ребята молчали. Данько махнул рукой и побежал дальше.

Он выбежал из оврага и вновь побежал по степи. Грудь уже стискивало, но нужно было бежать, и быстро: на хуторе уже, должно быть, узнали у тех двух мальчишек, куда ушла дичь. Вокруг была степь — позади, по сторонам и впереди лежала вечерняя степь. Данько бежал — и словно стоял среди степи, а степь убегала от него за горизонт. Пот давно просочился сквозь его одежду и охлаждал бегущее тело, как автомобильный радиатор.

Данько бежал, и степь убегала от него. Когда же солнце скрылось под землю, он остановился и упал. Он уснул.

XV

Ему снились причудливые, удивительные вещи. Ему снилось, что он не Данько Харитонович Перерва, а дон Хозе Перейра, путешественник и тираноборец из далекой Барселоны. Ему снился доктор Леонардо, медик и естествоиспытатель, прекрасная Альчеста и многие другие лица, которых он отродясь не видел в жизни и которые казались в этом сне знакомыми и привычными.

Ему снилось, что на землю упала зима, и он начал замерзать. Холодел живой виноградник его крови, он застывал и лежал, как ледовый пик, склоняясь грудью над рабочей Барселоной. Сквозь сон он видел, что вокруг него стоят молчаливые горы — и это были пятеро куркулей — и он должен был умереть. Было холодно и беспокойно спать, как когда-то в детские годы в нетопленной хатке глубокой осенью.

Фантастическая детская книга повела его в вымышленный лес воспоминаний. Веселые маслоносы порхали и чирикали в изумрудной листве того леса, у темного ручья под нависшими корнями черных деревьев молокопруд, сопя, рыл себе нору и выбрасывал кучи бархатной земли; на зеленом ковре лесной опушки танцевали резвые хлебороги, бодали друг друга и убежали в поле.

Куркуль Щовб ударил Данько сзади топором по голове, и он умер ночью в степи.

XVI

Ночью в степи лежало тело члена степного исполкома Данько Харитоновича Перервы. Земля давно остыла, давно исчезло всякое напоминание о солнечном жаре. И по мере того, как остывала земля, оживал виноградник горячей крови, сожженный солнцем. Это была уже не та кровь, что гнала Данько по степи, когда он спасался от куркулей — это была та предсолнечная кровь, что текла в жилах дона Хозе Перейры еще до его превращения.

Дон Хозе Перейра глубоко вздохнул и открыл глаза. У него болела голова, рана на затылке еще чуть кровоточила, но было свежо и холодно, и он встал. Он вытащил носовой платок и замотал себе голову. Сквозь платок он услышал размеренные удары хвоста — это был его рыжий друг, сеттер Родольфо.

— Здорово, рыжий друг Родольфо! — сказал дон Хозе. — Не слишком ли долго мы здесь с тобой спали на сырой земле?

Родольфо тоже встал, но ничего не сказал. Он был того мнения, что можно было еще поспать.

— Боюсь, я здорово разбил себе голову, — сказал дон Хозе. — Болит как проклятая. Что касается меня, то я пресытился охотой в степях и готов немедленно вернуться в Барселону, где, как ты хорошо помнишь, рыжий друг Родольфо, у нас с тобой есть одно важное дело. Пора уже сейчас прикинуть, как бы нам с тобой своевременно скрыть наши следы.

И дон Хозе Перейра стал придумывать текст корреспонденции для итальянской газеты «Воче дель Пополо». Мне думается, что он при этом вспомнил фамилию доктора Леонардо.

КНИГА ПЕРВАЯ

I

Если путешественник намерен сесть в лодку в Бахтине, чтобы плыть в Слобожанскую Швейцарию, и если он, этот путник, не умеет видеть, он ничего путного не увидит.

Путник охотно соглашается, что дорога была длинная и что дорога была пыльная — и что ему путь-дороженька, запыленная пылью, сказал бы он, если бы оценивал пыльную дорогу.

Также он готов признать, что по пути была очень тряская дамба, и еще мост над какой-то стоячей водой, переезжая каковую, принято спрашивать: неужели это Донец? Путник и не ведает, что эта фраза роднит его с той легендарной бабой, которая, погостив в Харькове у кума, сказала потом в докладе о путешествии — а доклад этот происходил перед хатой на бревне, где уже много было налузгано семечек — так вот, та баба сказала в своем докладе:

— А Донец в Харькове поганый!

И хотя в докладе этой бабы и воплотился пышный проект провести Донец в Харьков — проект, отчасти реализованный фотографом Довбней, ибо фотограф Довбня, сделав снимок Лопани, покрасил ее в разные цвета, расширил втрое, нарисовал на ней пароход, а над ним аэроплан и даже, кажется, чуть ли не пустил плескаться где-то в прибрежной пене пухленькую нимфу в купальном костюме — и хотя баба в докладе своем это все воплотила, заявив, что Донец в Харькове поганый, путник никак не согласился бы с той бабой породниться.

Между тем, баба могла бы кое-чему научить нашего путешественника — назовем его Леонардо и условимся, что он по специальности своей доктор и видел всякие края. Видел настоящую Швейцарию и взошел на Монблан, но не решился взойти на Маттерхорн, видел настоящую Баварию и, так и быть, видел красную Баварию во время восстаний в Германии и видел также Новую Баварию.

Итак, Леонардо, путешественник и врач, обнимая за талию, скажем просто и без претензий, Альчесту, не заметил ничего, кроме пыли, дамбы и стоячей лужи, которую он к тому же принял за Донец.

Но для легендарной бабы (созданной нашей фантазией) по дороге было много интересного. Был, например, терофазеритовый завод и много домов под терофазеритовыми крышами, были ворота, над которыми по какому-то старинному обычаю высился крест, а сами ворота были почти целиком вымазаны дегтем — тоже какой-то старинный обычай.

Но зря фантастическая баба кривила губу, представляя себе девку, у которой завелся самосевный ребенок или, говоря конкретнее, внебрачный сын. Бывает, что старинный обычай приобретает новый смысл — так, доктор Леонардо обнимал Альчесту рукой за талию, хотя они сидели не в карете, а на линейке. Так и молодые ребята нынче мажут ворота не той девке, что согрешила, а той, которая согрешить не захотела.

Щуря свой старый глаз (вымышленный, как сказано, нами), баба приметил бы домик с двумя окошками и заколоченными теперь дверями, как-то затейливо открывавшимися прямо над завалинкой. Это была когда-то монополька, сказала бы баба.

А три огромные буквы на терофазеритовой крыше того дома, буквы М. С. П., которые доктор Леонардо счел маркой терофазеритовой фирмы, оказались бы просто визитной карточкой и значили бы — Микола Семенович Половинка, а не «Московская сельская промышленность»; последняя, как известно, терофазерита не производит, а производит другие вещи крестьянского обихода, как то пралине, зефир, микадо, крем-мокко и прочее.

Также доктор Леонардо не обратил достаточного внимания на каланчу, с верхней площадки которой неусыпный пожарный осматривает Слобжанскую Швейцарию в те дни и часы, когда не спит под грушей. Пропустил он и небольшое каменное строение, содержащее в себе электростанцию, а еще раньше, в Замостье, не увидел поворота на Зидьки.

Справедливости ради надо сказать, что доктор Леонардо, придерживая на дамбе одной рукой Альчесту, а другой рукой портманто, указал ей на одинокую трубу где-то слева за Мжой. Но и здесь доктор Леонардо, весьма озабоченный сохранностью объектов, придерживаемых его десницей и шуйцей, не успел точно определить, что это был за дымоход.

— Вероятно, это кирпичный завод, Альчеста, — сказал он, — где производят кирпич, из которого окрестные крестьяне не строят свои дома. Да и что иное может быть в таком месте! Разве что какой-нибудь странный фантаст сказал бы, что это бумажная мельница!

— Не, эт не то, — отозвалась бы порожденная моей фантазией баба, если бы она случайно оказалась у подводы. — Эт не мельница. Эт у нас, значит, бамажная хвабрика!

Но в этот момент подвода миновала бы бабу, затянув ее завесой пыли, и Альчеста так и не услышала бы слова этого нереального персонажа.

II

Как видим, доктор Леонардо и донна Альчеста еще не сели в лодку в Бахтине, чтобы плыть в Слобжанскую Швейцарию, а совсем наоборот, то-

лько что въехали в город Змиев, и перед их глазами промелькнули инвалиды, торгующие хлебом. В Змиеве хлебом торгуют перекупщики и инвалиды, и в этом укромном месте и не слыхивали, что в Слобожанской столице хлебом торгуют исключительно греки по формуле: «что ни угол, то грек, что ни грек, то хлеб». Также не слышали в Змиеве и о войне, которую ведут харьковские греки с Церабкоопом. Каждый месяц благородные эллины уступают Церабкоопу угол за углом, отступая на окраины скифского города.

На базаре Леонардо и Альчеста увидели ряд лотков прямо под открытым небом, что напомнило им жизнь родной Италии, неаполитанские жилища и солнечное калабрийское вино.

Ибо на лотках стояли бескрайними рядами бутылки, бутылки полные и бутылки пустые, а у лотков толпился народ, закусывая хлебом.

— Это не вино, — сказал доктор Леонардо, — это даже не «хлебное вино», как в Украине называют картофельный спирт, разведенный на шестьдесят процентов водой. Это тот характерный напиток, который в Украине действительно делают из хлеба, а в России — из клюквы, поскольку там клюква заменяет людям хлеб. Это «куасс» (kwass)!

— Я хочу попробовать этот «куасс», — сказала Альчеста. «Любимая моя», — начал было Леонардо, но доктор Леонардо, хотя и путешествовал долгие годы с Альчестой, еще не имел счастья любить ее окончательно и полно, а потому он помог Альчесте сойти с ступенек линейки и подвел ее к лотку.

Элегантной ручкой, затянутой в лайковую перчатку, Альчеста взяла стакан, но немедленно поставила его обратно.

— Ты могла бы смело пить, о Альчеста, — сказал Леонардо. — Сифилис наиболее распространен в селах над рекой Уды, селах великорусских, где больны все поголовно. Эти старинные села, старше всех украинских селений, послужили основой для военных поселений государственного экспериментатора Аракчеева. Его эксперименты не увенчались полным успехом: он взрастил в своих поселениях только один аспект военной доблести, а именно венерические болезни.

Но Змиев — это относительно недавняя колония западных украинцев, и здесь сифилиса нет. Итак, ты могла бы смело пить из этого стакана, о Альчеста!

— Ишь какая, чтобы ее черти взяли! — сказала перекупщица вслед Альчесте, которая, словно испуганная птичка, порхнула обратно в подводу.

— Так вас везти в Провалье? — спросил извозчик, мужчина, внешне стью похожий на Ахиллеса, а по фамилии Черехаха.

— Дорогой Черехаха, — ответил доктор, отодвигая портманто. — Я бы хотел, чтобы вы отвезли нас в Бахтин. И это не потому, что Провалье, от которого Змиев, по легенде, получил свое название, было бы неинтересным для нас — так как велик и грозен, вероятно, был тот Змей, что провалил землю

и первым глянул из сухих ржаных полей на влажное великолепие плавней, плесов, заток и излучин синего Донца, но потому, что мы должны сесть в Бахтине на лодку, более того, мы должны были плыть на лодке уже в начале первой главы этой книги и в начале второй главы этой же книги. Законы фабулы, милый Черепаха, незыблемы и непоколебимы, как физические законы, которые вы знаете хорошо и сами. Вспомните, как вы, рассказывая о пойманной вами на дорожку щуке, говорили своим приятелям и прочему казачеству, что щука была не больше и не меньше восьми фунтов весом, а уже потом добавляли, что щука та перебила хвостом поводок и сорвалась, даже не достигнув кормы вашей дощатой лодки. Итак, я должен просить вас, друг Черепаха, повинуясь фабульным законам, отвезти нас в Бахтин.

III

— Володька, — сказал крестьянин Черепаха, обращаясь к своему коню, масти гнедой, — Володька, разве они понимают! Он заплатил мне рупь, чтобы я отвез их в Бахтин, и я везу.

— Володька! — сказал еще раз крестьянин Черепаха, пошатнулся и упал возле повозки на дорогу. Альчеста вскрикнула и закрыла лицо лайковыми перчатками. Но Черепаха уже поднялся на ноги, забрался на линейку и хлестнул коня.

— Он, видимо, пил много куасс, — сказала Альчеста.

Черепаха не согласился бы, услышь он эти слова. Он выпил свою утреннюю порцию, оправдывая себя, как и каждый день, тем, что его обидела бабка-перекупщица. Он вспоминал этот факт каждое утро, когда особенно остро ощущалась потребность выпить, вспоминал молча и про себя.

А выпив, он начинал об этом факте рассказывать и всегда в той краткой форме, в какой он обратился к своему коню Володьке.

Вечером он возвращался обратно в Змиев и, крайне разъяренный теперь уже своими речами, выпивал снова.

На следующее утро ему очень хотелось выпить, и он снова вспоминал о факте.

Так проходила жизнь крестьянина Черепахи и его коня Володьки.

IV

Когда путешественник садился в Бахтине в лодку, перед его глазами развернулась такая картина. Слева у берега крестьянин Черепаха прятал в

карман бумажный рубль и, очевидно, готовился ехать выпивать, только что в последний раз повторив свою краткую речь. Справа в лодке уже сидела Альчеста, положив ножки на грудку сена, брошенного в лодку, чтобы не было мокро. Прямо за спиной путешественника, скажем, доктора Леонардо, растянулся первый пейзаж.

— То, что ты видишь перед собой, о Альчеста, — сказал путешественник, — исключая фигуру хорошо сложенного и хорошо одетого мужчины, доктора Леонардо, который, впрочем, сейчас разденется и останется в одних трусах, то, что ты видишь перед собой, исключив эту фигуру, это еще не Слобожанская Швейцария. Это, я бы сказал, скорее Слобожанские прерии, где, как ты можешь видеть в бинокль, пасутся не бизоны, а длиннорогие коровы и быки серой масти, смиренные и флегматичные внуки степного тура, так безрезультатно носившего на своих рогах князя Мономаха. Они покорились людям, и их приучили, по крайней мере в их коровьей части, давать людям молоко, лишь изредка опрокидывая подойник.

Напротив, ту птицу, которая, как ты видишь, будто остановилась над бором в долине, люди еще не приучили жить и класть яйца на дворе. Это степной орел.

— Орел! — вскричала Альчеста, хватая бинокль. — Я думала, это ворона. Неужели здесь еще есть орлы?

— Это степной орел, — повторил доктор Леонардо. — В бинокль тебе видны его тупые, незаостренные крылья. Один такой орел жил здесь, в змиевском лесничестве, года два назад, пока его не перевезли в Слобожанскую столицу. Я узнал это из испанских газет.

Теперь взгляни на эту широкую долину, на эти сотни озер, излучин и заток. Слева ты видишь песчаную дюну и на ней бор. Справа от нас Бахтин, а дальше начнутся горы. Когда-то вся эта долина была одной широкой синей рекой, и было это не при царе Горохе, а значительно позже, например, при князе Мономахе.

Даже приток притока притока этой реки, достославная речка Лопань, когда-то была большой рекой. Журавлевский лавочник Нечипир Убийбатько мог бы рассказать тебе о том, как в Лопани на его памяти ловили аршинных карпов и даже точно показать длину такого карпа на своем прилавке. И не в такой седой древности, а гораздо ближе к нашим временам, у молдавской мельницы утонул не совсем трезвый извозчик.

Вообще-то воды во всем Союзе некогда были куда глубже и страшнее. Есть такой город Рязск где-то в Тамбовской губернии, и перед вокзалом там до сих пор простиралась немалая лужа. А когда мой отец был еще студентом и всей душой предавался изучению римского права, в этой луже перед вокзалом, случайно туда забравшись, утоп взрослый, нормальных размеров конь.

— Черные туземцы и сегодня носят воду, как в ушатах, в скорлупе от яиц эпиорниса, однако сам эпиорнис вымер, и мы уже никогда, никогда его не увидим. Но река весной показывает, какой она была когда-то, когда затопляла всю долину и левым берегом служил для нее для нее бор, а правым — лес. Она сносит телеграфные столбы и заставляет задончан ходить в лиманскую церковь вместо змиевской. Она сносит телеграфные столбы, и покорные стихии задончане устанавливают теперь вместо столбов сосновые жерди, рассудив, что столбам все равно не устоять в половодье. А если их в любом случае снесет, зачем их ставить, решили задончане и пустили столбы на потолочные балки.

— Леонардо, милый, — сказала Альчеста, — в детстве я была такой же умной, как они. Я не хотела мыть руки — все равно пачкаются. Теперь я их мою, правда, но ведь я всегда-всегда ношу теперь перчатки.

Она вскочила и простерла к Леонардо пару необычайных ручек. Лодка слегка пошатнулась, и Альчеста оперлась правилкой о борт. Лодка чуть наклонилась вправо, и Альчеста, в очаровательном усилии выровнять ее, налегла на левый борт. Лодка перевернулась и накрыла собой путешественника, доктора Леонардо, и элегантную Альчесту, которую он еще не имел счастья любить окончательно и полно, хотя и путешествовал с ней вместе в течение долгих лет.

Степной Донец неглубок, и доктор Леонардо не испугался ни на миг. В его душе царила радость. Он дождался минуты, когда можно было спасти Альчесту, вынести ее на руках на берег, снять с нее счастливыми руками мокрую одежду, пойти с ней по берегу, неся в руках ее нежное белье, и скромно смотреть на маленькие пальчики ног, переступающие в солнечной траве.

Они шли радостно и просто. Солнце стояло в зените. Течение Донца, подкрадываясь к берегу, чуть веяло холодом, и Леонардо начал сочинять стихи. Он чувствовал, что несет в руках свое счастье, и долгие годы путешествия сложились в две молчаливые строки:

Як ми з нею луками ішли,
Розцвітали луки на путі.

Он оглянулся на лодку, на то место у осоки, где вынес Альчесту на берег.

Під ногами не було землі,
Ні пливти, ні стати, ні іти.

Альчеста тоже оглянулась вслед за ним. И вот шаг за шагом сложились

стопа за стопой:

В берегах давно дрімав Дінець,
Мов косар на спину спати ліг.
Вона глянула — й родився вітерець,
Вона стала — й вітерець затих.
Як заснув у небі білий шум
І забув пливти за океан,
Як перо, що ним тепер пишу,
В сонний затопилося стоян.

Солнце! Леонардо уже видел, как оно заходит ради него, чтобы даровать простор его радости!

Як спалив зелену лісосіч
І погас рудіючи Ромен,
Як минали ніч і день, і ніч,
Як минали день і ніч, і день.

Я не могу осудить доктора Леонардо за то, что он сочинил такое нежное стихотворение для несерьезной и необразованной женщины, которая к тому же носила лайковые перчатки, а теперь шла рядом с ним, голая и робкая, в лугах над сонным Донцом.

Любовь не желает ничего знать об умственном неравенстве и недостаточном образовании. Может быть, доктор Леонардо собирался перевоспитать и чему-то обучить эту нежную и капризную женщину — голая, она казалась ему семнадцатилетней девчонкой. Но, возможно, он и не собирался ее перевоспитывать и учить.

Ведь доктор Леонардо был совсем не коммунистом и даже не гражданином Советской Республики. Как показывает уже сама его фамилия, он был итальянцем. В книгах небольшой церквушки недалеко от Болоньи до сих пор можно найти запись о том, как тридцать семь лет тому у Александро Пацци, прихожанина этой же церкви св. Франциска, родился сын Леонардо Пацци.

Это и был наш путник, доктор Леонардо.

VI

Оставим на некоторое время наших героев, которые скоро уже обсохнут и оденутся, не станем пока заглядывать в их души, где уже созрело счастье,

не будем упоминать и то, что по телу Леонардо, как ветер по течению реки, пробегала дрожь тончайшей, наинежнейшей радости. Вернемся к выдуманной нами и совершенно нереальной бабе и ко второму, по совести сказать, тоже вымышленному, абстрактному персонажу — крестьянину Черепаху.

Представим себе, что эти два алгебраических знака встретились как плюс и минус в том конкретном геометрическом месте, где улочки Бахтина втекают в базарную площадь. Баба, будь она живой, реальной бабой, как раз успела бы дойти до площади и встретить Черепаху, каковой, разъяренный бесчисленными речами к пассажирам и перспективой выпивки, разговаривал уже сам с собой, хотя и очень громко.

— Все болтаешь, дурачок, — строго сказала бы баба, — погодь, договоришься ищю. Овес будешь у меня брать иль и этот рупь пропьешь?

— Почему овес, бабка? — спросил бы крестьянин Черепаху, осторожно избегая разговора на моральные темы.

— По три с полтиной, — ответила бы баба неоспоримым голосом.

— Наверное, завтра заеду, а мож, и послезавтра, — сказал бы крестьянин Черепаху, оттягивая, насколько возможно, день трезвости.

— Послезавтра будет по четыре, — сказала бы баба, снова отправляясь в путь.

Крестьянин Черепаху очень хотел бы сказать чертовой бабе, что недели через две овес будет в Змиеве по семь гривен, потому что завезут новый, но воздержался. Могло и так случиться, что после подобной реплики овес у бабы подорожал бы еще на полтинник, а больше овса нигде не найти. Чертова баба каждую осень закупала тысячи две пудов овса по пятьдесят копеек, а весной и летом продавала его по два, по три и по четыре рубля за пуд.

Крестьянин Черепаху, будучи намного умнее господ, поскольку господа, как он выяснил для себя уже давно, ничего не понимают в крестьянских делах, вполне признавал умственное превосходство бабы. Сама механика ее овсяных операций казалась ему хитрой и мудрой, даже граничащей с гениальностью.

Черепаху плюнул вслед вредной бабе, нашарил в кармане рубль, слез с подводы и, держа рубль в протянутой руке, вошел в кооператив.

Тем временем на дороге, по которой только что шла баба, уже никого не было. Только дурман у дороги тихо качал колючей запыленной головой и где-то далеко во дворе кудахтала курица. Бабы не было. Она не свернула в улочку и не зашла во двор, не взлетела на небо и не провалилась сквозь землю. Ее просто не было — мы ведь предупреждали читателя, что это персонаж вымышленный, сугубо абстрактная величина, алгебраический знак, а не живой человек. Бабы не было, как не было и разговора об овсе. Только дурман у дороги тихо кивал запыленной колючей головой.

VII

Увлечшись апокрифической бабой, мы покинули доктора Леонардо и его будущую любовницу Альчесту голыми и идущими по берегу степного Донца. Аморальный читатель мог уже бог знает что подумать о них, учитывая опасность такой прогулки для двух статных, живых людей с горячей итальянской кровью в жилах.

Но аморальный читатель забывает, что доктор привык сдерживать свою страсть на протяжении долгих лет путешествия и тем легче мог сдерживать ее сейчас в течение нескольких часов ожидания.

Леонардо остановился, размышляя. Они могли бы взобраться на первую кручу, на которой уже было вырезано столько инициалов, дат, имен и любовных записок. С высоты они увидели бы всю долину степного Донца, Задонецкий бор, обширный лиман в синей мгле за бором, железнодорожный мост у Якубина и где-то далеко, у самого горизонта, поезд. Ветер донес бы до них в южной тиши потусторонний грохот вагонов и одышку паровоза. Справа за кручей они могли бы увидеть и горы — преддверие Слобожанской Швейцарии.

Можно было без затей идти дальше по берегу Донца до самой Гайдары. Или, наконец, снова сесть в лодку и добраться по воде до первых гор.

— Дорогая Альчеста, — сказал доктор. — Я бы предложил поплыть в лодке. Правда, для этого нам придется возвращаться назад, но времени у нас много, а фабульные законы неумолимы.

Альчеста ничего не сказала, а стояла и смотрела в траву. Леонардо тихонько взял ее за руку и повел к лодке.

Больше они не разговаривали. Леонардо греб, откидываясь назад, а Альчеста, подстелив под себя одежду, лежала на носу и смотрела в воду. Химерические травы колыхались и изгибались в глубине, тянулись рошицами, меж ними раскрывались пропасти и коридоры, откуда испуганно спасались перистые окуни и красноперые язы. Дно коридоров отсвечивало золотым песком, медленно зеленело, синело и совсем исчезало в мутной мгле, над которой сустились рыбы. Лодка шуршала по листьям и, затопляя белые и желтые лилии, выдавливала из них эфемерный грушево-медовый аромат. Золотисто-зеленый жучок выбрался из лилии на борт, неторопливо прошелся и, мягко щекоча, заполз на руку Альчесты.

А над Леонардо кружили чайки. Словно дни его долгого путешествия, они проносились перед глазами, острокрылые и светлые, и, казалось, ни одна не возвращалась, но где-то высыпались из белой тучи все новые и новые легионы теплых снежинок и падали перед глазами на реку.

Донцу же не было предела. Неширокий и быстрый, он прятался за камышами, поворачивал на восток, на юг и снова на восток, уносил лодку да-

леко-далеко в сторону и вдруг спустя долгие часы вновь шаловливо показывал свое, уже однажды пройденное, водное тело где-то в полусотне метров справа.

Леонардо бросил весла и выпрямился в лодке. Здесь начиналась Слобожанская Швейцария. Назад отплывала сеть озер и излучин, Кривец перетекал в Дончик и уходил в большой плес под Задонецким хутором, впереди и слева колоссальным зеркалом лежало Белое озеро. А прямо перед лодкой влажным дыханием веяли громады темных лесистых гор, пряча под копной деревьев еще неведомый подгорный Донец. Леонардо стоял как окаменевший, Альчеста подняла голову и молча смотрела на леса. На мгновение стало совсем тихо, кваканье лягушек смолкло, горы неожиданно заслонили полнеба и застыли в ожидании.

— Альчеста, любимая! — тихо сказал Леонардо — и не смог продолжать. «Альчеста», — через силу произнес он. Она повернулась к нему и молча смотрела на него глубокими влажными глазами.

— Альчеста! — повторил Леонардо. — Там, где-то там, в одежде, лежат мои сигареты. Передай мне, пожалуйста. Ужасно хочется курить.

VIII

Будь я не скромным медиком, а прозаическим лириком, каких, кстати говоря, Альчеста, очень много в Украине, и пишут они или стихи, ничем не отличающиеся от прозы, или прозу, напоминающую очень плохие стихи, — будь я прозаическим лириком, о Альчеста, я так попытался бы передать тебе свои впечатления от Слобожанской Швейцарии.

Гляди, наша лодка минует тринадцатый поворот, и внезапно меняется весь ландшафт, словно на сцене включили лесные лампы вместо степных.

Вода становится темной, тихой и глубокой. Вода становится вчетверо шире, но три четверти ее сокрыты тенью лесных гор. Если бы ты закрыла глаза на тринадцатом повороте, тебе показалось бы, что тебя перенесли вместе с лодкой в иной климат, на тринадцать градусов севернее. Здесь прохладно и сыро. Яворы и дубы спустились к темной реке и накрыли ее лохмотьями своих зеленых рукавов. Лодка проходит последнюю затоку, и на левом берегу сгрудились у воды черные тополя. Тяжелое облако пришвартовалось над большой рекой и бросило над лесом якорь.

Гора заслонила от нас полмира, но это только первая, самая маленькая гора. Вторая выше, еще выше третья, четвертая — пойдут вырастать горы на поворотах.

Ты видишь: в лесу спокойно и тихо. Волки спят в своих логовах вдали от реки и ночью придут пить воду. Людей нет, но дикие козы тоже ушли

в самую глубь леса.

И вот ты слышишь в этой тишине слабенький звук, как нота, как трель деревянного инструмента в оркестре. Он то смолкает, то снова журчит вдалеке, будто какая-то птица перепрыгивает с горы на гору, нанизывая на гряды гор бусины слабых, чуть сипловатых, неочерченных туманных звуков.

Эта птица с деревянным горлом — первая флейта Слобожанской Швейцарии. Это поют деревянные колокольчики на шее у коров, чтобы можно было легко найти заблудившееся животное.

Теперь погляди вверх — видишь, над кронами леса, на самой вершине горы стоят прозрачные отвесные дымовые столбы, словно около десятка ангелов одновременно зажгли свои огни в райском лесу. Дымные столбы слегка сгибаются, когда набегает ветерок, а после снова выпрямляются. Они немного ажурные, как если бы кто-то растянул на просушку рыбацкие сети, привязав их к облакам и лесу.

Это, Альчеста, комары, и они не над лесом, а над нами.

В воздухе для нас нет точек ориентации, и то, что летит перед нашим носом, часто кажется нам летящим над далекими лесами.

История охоты знает не один случай, когда охотник хватался за ружье и стрелял в муху, думая, что это утка летит над кустарником.

Ты давно слышишь, как в слабые деревянные трели вплетается более высокий, более чистый, более протяженный тон.

Это вторая флейта, флейта-пикколо Слобожанской Швейцарии. Сейчас ты увидишь, что за пикколо играет на этой флейте.

Не кажется ли тебе, что эти ласточки — вон там, над горой, — чуть больше обычных размером, и крылья у них не такие серповидные? Вот плывет одна такая ласточка, крылья ее сложены правильным полумесяцем, сквозь них дымчато просвечивает солнце! Эти крылья бледно-оранжевые, а маховые перья и грудка бледно-голубые.

Это и есть пикколо. Это золотистая щурка — говорят, она единственное, что осталось от бывшей тропической фауны здешних мест, сметенной большим путешествием ледовых полюсов Земли.

Селяне называют эту птицу пчелоедкой, потому что она любит охотиться на пчел.

Но вот над рекой взвился самоцвет куда ярче — он сидел в камышах, когда его вспугнула наша лодка. Это «король-рыбак», как зовут его англичане, а у нас он называется зимородком.

И чем дальше вглубь леса заплывает лодка, тем гуще и богаче становятся звуки. К деревянным колокольчикам и золотистым щуркам присоединяется металлический тимпан, острый и надсадный — это кричит цапля. Как кларнетовые петушки в оркестре, выпрыгивают дикие высокие возгласы — это клекочут ястребы и соколы. И под всеми этими звуками, как вечерний стрекот сверчков, расстилается сеть голосов мелких певчих птиц.

IX

Приблизительно так или еще приторнее я бы нарисовал тебе, о Альчеста, ландшафт Слобожанской Швейцарии, будь я был прозаическим лириком.

Но я не прозаический лирик, а только врач-венеролог, Леонардо Пацци из-под Болоньи, и я попробую как-то иначе выразить свои чувства, о Альчеста, при условии, что ты снова дашь мне сигарету из числа лежащих там... где-то там среди одежды.

Мы подплываем к Косачу. Вон там, над дубовым и ясеневым молодняком на горе, высится одинокое дерево.

Кажется, это та самая гора, где монахи из казаков разбили сады и какой-нибудь Дорош держал пасеку поодаль от казацкого монастыря. Грицько Нечеса, иначе Потемкин-Таврический, разрушил это военное казацкое гнездо по приказу весьма государственнической всесветной курвы, царицы Екатерины. Да, кажется, это та самая гора. На склоне ее, как видишь, кто-то вырезал свою фамилию — Перебейнос.

Но не надо думать, о Альчеста, что тот самый Перебейнос, который вел за собой без малого семьсот казаков и рубил ляхам головы с плеч, а остальных топил, вырезал на этом утесе свою молодецкую фамилию, данную ему за то, что в юности он всем парням своей деревни одним добрым ударом перебивал носы.

Этот Перебейнос, я думаю, молодой парень из Змиева, комсомолец, работает он, наверное, на бумажной мельнице и, не исключено, играет в футбол, где он перебивает не носы, а разве что ноги вражеских беков и хавбеков, если принять гипотезу, что он сам, сей молодой Перебейнос, играет левого крайнего форварда или инсайда.

Да, о Альчеста, кажется, это та самая гора. Видишь, там, среди дубового и ясеневого молодняка, высится зеленой свечой одинокое дерево.

Это, должно быть, груша. Я вижу, о Альчеста, твой удивленный жест. Откуда Леонардо знает, говорит твой жест, что это груша, а не например, берест или еще какое-нибудь дерево?

Это, должно быть, груша, повторяю я. Вырубая леса, украинец оставляет груши. Осенью в одну из суббот его семья пойдет в лес, взяв с собой торбы. Его жена и дети наберут полные мешки диких грушек, маленьких и горьковатых на вкус. Они испекут их в золе и по вечерам будут есть их, как ты, о Альчеста, ешь по вечерам шоколадные конфеты Моссельпрома. Эта груша и есть крестьянский Моссельпром.

Но не совсем так, о Альчеста, я хотел рассказать тебе о нашем дереве. Ты что-то хотела сказать?

Х

Сознательный и образованный читатель знает, что говорит нам наука физиологии о некоторых человеческих потребностях, а именно, что они совершенно неумолимы и неизбежны. Сила этих потребностей такова, что, будучи сдерживаемы и оставаясь неудовлетворенными, они сокрушают все на своем пути: мораль, обычаи, законы, семейные узы; как лавина, сносят они самое дорогое для людей. Таков голод и такова любовь.

Но и другие потребности, реже упоминаемые в книгах и совсем не упоминаемые в стихах, силой своей едва ли не превышают эти две.

— Леонардо, дорогой, — сказала Альчеста. — Я хотела бы взойти на эту гору.

Что-то затрепетало в груди доктора Леонардо от этих ее слов, от того тона, которым она произнесла слово «дорогой». Неужели час настал? Неужели сейчас закончится его психическое путешествие в душу Альчесты?

— Пойдем! — сказал Леонардо и направил лодку к берегу. Лодка врезалась в осоку. Альчеста легко прыгнула на берег и оттолкнула лодку руками.

— Я пойду сама, Леонардо, — сказала она с очаровательной улыбкой на нежных губах. — Я сейчас вернусь.

«Если есть сила превыше любви, то, наверное, эта», — подумал доктор Леонардо. Ведь они не расставались ни на минутку с самого утра.

И он снова стал смотреть на одинокое грушевое дерево. Он глубоко задумался и не заметил, как за ним разошлись две несравненные ручки и, тихо сомкнувшись, закрыли ему глаза. Леонардо ласково отвел ручки и обернулся. За ним в неглубокой воде под берегом стояла Альчеста.

— Я хочу кое-что сказать, Альчеста, об этом дереве, — сказал Леонардо. — Я не знаю, что есть чудесного в одиноком дереве, которое вознеслось над лесом и смотрит тебе прямо в глаза. Может, оно манит душу тем, что за этой горой опять далекие и неведомые поля и снова горы, что нет конца твоей дороге и что тайна, ради которой ты путешествуешь по горам, растаяв за первой вершиной, тотчас волшебным рождается за второй и так будет целый день, пока ты не придешь в ночь.

Это дерево — как поезд, промчавшийся мимо степной станции и навеки растаявший для тебя в долине. Это дерево — как сон, в котором ты испытала наконец счастье и забыла его на рассвете. Оно — как тот Иггдрасиль, ясень германской мифологии, выросший корнями в землю и держащий на себе вселенную.

У того, кто сотворил нас с тобой, об этом сказано лучше и грустнее. Я думаю, что у него ушло больше творческих сил на эти слова, чем на нас с тобой, хоть я рассудительный и спокойный доктор Леонардо Пацци, а ты прекрасная Альчеста. Слушай.

XI

Ах, дерево у пам'яті глухій,
Що винеслось над обрій давніх літ
І так у полі зорянім заснуло.
Немов не зорі то були, а деревій:
Райдеревом розкинувся над світом
І подолав полин, і переміг перій,
І виріс в ігдразил,
— Морями, хмарами і снами оповитий.
Те дерево в дитячий край веде,
В туман, що закипає над рікою,
За ті горби, що десь за ними ген
Маює тайна і розтане знов,
В жита, що їх хорунжий вітер
Жене за ті горби зустрітися, любов,
З тобою.
— Під деревом, що стало серед літа.

XII

— Я сказал, что создавший эти слова создал и нас с тобой. За всю свою жизнь я не испытывал благодарности к нему, писавшему эту книгу, потому что счастье, звездой промелькнув передо мной, всякий раз падало в никуда. Но сегодня я благодарю его — ты понимаешь, за что — за то, чего еще никогда не было на этой земле и что сбудется сегодня, Альчеста. Я знаю, я чувствую это — Альчеста, голубушка, ты до сих пор стоишь в холодной воде, милая!

Он выпрыгнул из лодки, и они пошли вверх; они пересекли кусты и стали взбираться на кручу. Перед глазами их парили золотистые щурки, листья щекотали им шею, и они взбирались все выше и выше.

Наивная изгородь из свежих веток преградила им путь; где-то по ту сторону горы в лесном овраге звенели деревянные колокольчики. За изгородью они увидели дверь.

Я думаю, однако, что лишь один Леонардо увидел ту дверь в белой стене альпийской хижины: Альчеста, крепко ухватившись за руку доктора, не отрывала глаз от этой давно знакомой, чужой руки, которая сейчас станет ее собственной, своей рукой, ибо вечер ниспадал на землю, и завершалось долгое путешествие Леонардо.

КНИГА ВТОРАЯ

I

Когда ученый доктор Леонардо и его будущая любовница, прекрасная Альчеста, целый день пропутешествовав по Слобожанской Швейцарии, к вечеру вошли через низенькую дверь в белое слобожанское шале, или домик, то и читатель наш, и читательница, и я сам были уверены, что путешествие доктора Леонардо закончилось, что его будущая любовница, прекрасная Альчеста, станет под покровом ночи его нынешней любовницей.

Там, в доме бывшего легендарного дровосека, теперь древосадца, вместе с тем должно было свершиться зачатие новой жизни в чреве прекрасной Альчесты.

Но этого не случилось. Не случилось из-за коренного различия, существующего, вопреки утверждениям современной науки, между людьми и другими животными, на сей земле сущими.

Святые отцы полагали, что это различие состоит в бессмертной душе, которая жила во времена тех святых отцов только в человеческом теле и не обитала в телах животных, русалок, мавок, леших, чертей, чертовок, домовых и прочего населения земли, каковая и сама имела в те времена форму не округлую, а плоскую, на манер блина в морской сметане.

Но с тех пор, как грамматики выяснили, что бык, лошадь и бегемот — существа одушевленные, как русалки стали служить машинистками, лешие — лесоводами, а черти подались в духовенство Живой церкви (что выясняется из прокламаций, изданных в Слобожанской столице святыми отцами), упомянутое различие совсем стерлось, поскольку святые отцы и сами неспособны теперь сказать, в каком теле может пребывать бессмертная душа, а в каком она пребывать не может.

Грамматики, пришедшие на смену святым отцам и взамен вопроса о числе ангелов на острие иглы выдвинувшие проблему выеденного яйца, а также дилемму, писать ли «клуб» или «клюб» (принимая во внимание, что англичане, придумавшие это слово, совершенно неправильно и бессовестно произносят его как «клаб»), видели отличие между людьми и животными в том, что люди могут говорить, а животные этого дара не имеют.

Однако ослы, попугаи, павианы, сороки и скунсы, составляющие большинство самой крупной корпорации грамматиков, написали столько статей и книг и произнесли столько ораций и речей на тему выеденного яйца, что стало совершенно ясно: животные наделены даром речи, устной и печатной.

Следовательно, и это различие между людьми и животными оказалось нереальным и несуществующим. И на самом деле не было бы никакого спо-

соба отличить животное от человека, если бы не одно маленькое обстоятельство.

Это обстоятельство не позволило доктору Леонардо завершить в ту ночь свое путешествие и полюбить прекрасную Альчесту окончательно и полно, ибо Альчеста была человеком.

У животных же указанное обстоятельство, напротив, не только допускает любовь, но и сигнализирует и стимулирует наступление эпохи любви, как знает каждый, кто видел весной в оврагах собак или бывал на пункте случки лошадей.

II

— Завтра это пройдет, милый, — сказала ночью Альчеста, — и тогда мы будем счастливы. — И она целовала Леонардо еще жарче, еще слаще. — Я только боюсь, что не найду здесь, в твоей Швейцарии, кипяченой воды.

Леонардо молчал. Он не был уверен в том, что требуется именно кипяченая вода. Ведь доктор Леонардо знал, что, пройдя под солнцем несколько верст, вода стерилизуется, так как в ней выжигаются все бактерии. Наконец, бывший дровосек и теперешний древосадец мог разогреть аппарат, найденный в руинах Помпеи и Геркуланума, экспортированный в глубокой древности в скифские края и называемый там самоваром.

Но не это смущало душу доктора Леонардо.

Он сетовал. Он сетовал на природу, сетовал на проклятое различие между людьми и животными. Доктор Леонардо, медик и естествоиспытатель, сетовал на природу.

Он чувствовал себя, как путник в Слобожанской Швейцарии, который шел по лесам и шел по полям, переплывал реки и затоки, увязал в песках, воевал с собаками, падал в обморок от солнечного жара и дрожал под дождем только для того, чтобы, добежав до станции и увидев поезд, услышать, что на поезд нет билета.

Он чувствовал себя, как средневековый рыцарь, который всю жизнь искал своего злейшего врага с мечом в руке и, когда нашел того врага, спящего безоружным под деревом, у него не поднялась рука взмахнуть мечом.

Он чувствовал себя, как дон Жуан, который любил множество женщин и не находил той, кого искал всем существом своим, и когда нашел ее, прекрасную и покорную, уже не смог ее полюбить.

Так думал доктор Леонардо и не спал до самого утра. А рядом с ним на душистом сене в окружении топоров и колокольчиков прекрасная Альчеста видела сон.

Ей снилось, будто из туманов вылетает большая серая среброкрылая пти-

ца и что та птица и есть она, прекрасная Альчеста. Ей нужно лететь далеко-далеко за бор, чьи верхушки, как черные наточенные лезвия, как миллионы мечей, устремляются в зеленоватое небо на рассвете.

Ей было легко и весело лететь — так ровно и плавно вздымались крылья и несли ее над черным гребнем бора. И вот над самым бором она снизилась, и крылья ее с шелковым шелестом зашуршали в иглах деревьев.

Она летела над самым бором, и хвоинки легко и без боли вонзались в серебряные перья. Вдруг она почувствовала, что из маленьких ранок от хвои идет кровь, посмотрела вниз: каждая капля крови, упав, становилась багровой земляникой среди зеленой листвы внизу. Чем дальше она летела, тем сильнее хлестала кровь и тем обильнее рождалась красная земляника под зелеными листьями лесной поросли.

И вот вдали засинел Лиман. Словно половина неба, блестящая и ясная, упала на седые дряхлые солончаки, — таков был Лиман. В воздухе стало еще жарче, и над кустарником, словно переступая крыльями, пронеслась на Лиман белая крачка. Альчеста уже чувствовала прохладу большого озера, уже летела над осокой, когда в надводной мгле за Лиманом начало расти исполинское красное гало, голое и без венца лучей. То выплывало на свет солнце, и вот что-то загудело, будто где-то далеко в соленой пустыне ревел лев. Солнце вышло по пояс, и снова заревел лев. Осока кончилась, Альчеста была над водой, невидимый лев рычал, допевая свою утреннюю песню. Альчеста проснулась и стала прислушиваться: лев рычал в соседней хате.

III

— Это не лев, — сказал доктор Леонардо и, подложив руку под голову прекрасной Альчесты, нежно привлек ее к себе. — Это и не выпь ревет в камышах. Это наш гостеприимный хозяин, добрый древосадец, проснувшись, икает со сна по стародавнему крестьянскому обычаю. Еще одна нота, вторая, потом тремоло — и он закончит.

Альчеста снова сомкнула длинные темные ресницы и слегка раскрыла неописуемые губы. Голос еще раз икнул и смолк. Из соседней хаты раздался тот же голос, более низкий и чистый. Древосадец читал стихотворение:

Випливає чапля з туманів,
Тихо крилами моя махає птиця,
Мов у листя ранішніх лісів
З серця точить кров — і кров стає суниця.
І ще тихше канула за грані
І розтала десь за горами далеко

Чапля — може, то була лелека,
Потонула в сутиші багряній.
І над плахтою картатою полів,
Що горіше, що солодше спиться
В ніч любови, край останніх снів
Народилось сонце-полуниця.

Стихотворение отзвучало, за стеной родился такой звук, будто кто-то поплевывал на обрывок бумаги. Дальше все смолкло, и в хату вползла струя синеватого сладкого дыма.

— Этот дым, — сказал Леонардо, — объяснит тебе все. На бумажном кульке, в котором древосадец принес себе вчера вечером из Змиева три фунта соли, было напечатано это стихотворение. Оно принадлежит тому же, кто сотворил нас с тобой, о Альчеста. И поскольку тот, кто создал нас, родился на полвека раньше, чем ему следовало родиться, это стихотворение вместо того, чтобы лежать на столе у древосадца, пошло на бумажный кулек для соли.

Но древосадец все равно прочел его. Отсюда этот дым, — он насыпал на бумагу табак, свернул самокрутку и закурил.

Некоторые люди в этой причудливой стране считают, что переводить стихотворение на махорку — непростительный, беспросветный вандализм. Но я бы так не сказал.

Когда, проходя по улицам Слобожанской столицы, горожане видят на половину изорванный плакат, они хмурятся, насупив брови. Им кажется, что срывать плакат — это дикое, ничем не оправданное хулиганство. Я понимаю их: они прочитали на плакате прекрасные лозунги, те лозунги, что когда-нибудь освободят мир от капиталистического гнета. Они увидели яркий энергичный рисунок, дополнительно подчеркивающий лозунги. Им все-цело понравился плакат.

Они забыли только одно — что плакат, кроме лозунгов и изображений, обладает еще одной субстанцией, которую они давно перестали замечать. Эта незаметная для них субстанция, этот материальный субстрат плаката — бумага.

По улице идет селянин: он пришел пешком за полсотни верст из своего села в Слобожанскую столицу добывать правды. Он еще не съел хлеб, что на рассвете положила ему в котомку жена. В его широченном кисете еще осталась хорошая крепкая махорка. Но он уже позавчера скурил весь обрывок газеты, который бросил ему из окна пассажир мягкого вагона. И вот он, идя по городу в такую рань, когда служащие только начинают разжигать примусы, а дворники подметают улицы, видит на стене БУМАГУ, много бумаги, столько бумаги, что вся его деревня и два соседних хутора могли бы, сев вокруг, скрутить себе из той бумаги по козьей ножке.

Неужели ты теперь осудишь нашего доброго древосадца за то, что он, оторвав от стиха строку: «З сердца точить кров — і кров стає суніця», так как из этой строки могла получиться самая длинная самокрутка, теперь с синим сладким дымом выдыхает эти теплые слова в неизмеримое пространство утренней вселенной!

Тем более, что он все-таки сперва прочитал стихотворение, этот добрый древосадец.

IV

— Что ты ищешь в моем ридикюле, о Леонардо? — спросила прекрасная Альчеста. — Если ты ищешь там карандаш, чтобы записать стихотворение, или денег, чтобы заплатить древосадцу за стихотворение, или, может, вчерашний вечер — если ты этого ищешь, там не найдешь.

— Я уже нашел, — ответил доктор Леонардо и показал Альчесте небольшую медно-бронзовую трубочку с ярко-красным кончиком. На белой стене губным карандашом прекрасной Альчесты Леонардо изобразил пурпурной линией Донец от Змиева до первой горы, отметил кровавой полосой пошире путь от первой до Казачьей горы, начертил слева Белое озеро и ближе слева — Косач с ожерельем озер вплоть до Белого озера, нарисовал затоки и излучины Донца за Короповым хутором и Триречье, ведущее к Бешкинам. Смелыми штрихами накладывал он на стену лесные горы, которые археолог назвал бы «змиевым валом», затем принялся рисовать верхнее течение Донца от Черемушной и Якубина до Зидек и бумажной мельницы. Карта росла и расширялась, она уже доходила до пола внизу и цеплялась своими ветвями за потолок вверх, а Леонардо все рисовал губной краской озера, затоки и излучины... Внезапно карандаш задребезжал в его руке и, вместо ярко-красной линии, оставил за собой на стене только синюю царапину.

— Ты изрисовал весь мой губной карандаш! — вскричала испуганная Альчеста. — Чем я буду теперь красить губы? Это был такой прекрасный заграничный карандаш. Может ли твой древосадец сварить мне хоть что-нибудь похожее в своем самоваре? Жестокий, бесчувственный Леонардо!

И, отобрав у него обломок карандаша, она уже закрасила красным пламенем его длинный классический нос и собиралась украсить его высокий лоб, когда дверь распахнулась и в комнату вошел древосадец.

— Самовар готов, — сказал он. — Был я молодой, ходил очень быстро, одним шагом, как напружусь, так и перемахну саженой пять, а может, и восемь. Раз поспорили мы с тестем, что он конем, а я пешком — кто раньше будет в Змиеве. Он выехал парой лошадыми, а я так иду, будто не иду, а перелетаю саженой четыре, пять, а то и десять. Пришел, взял хлеба, селедки,

выпил, закусил, а тесть еще вон — возле Провалья едет парой конями. Вот так я ходил, а самовар готов, а это вы им здорово разукрасили нос!

V

Древосадец был человеком высоким и кряжистым.

Седые волосы, подстриженные щеткой, обильно покрывали его круглую голову. Лицо в оспинах смотрело парой маленьких черных глаз, нюхало двумя колоссальными ноздрями, из которых, словно сталактиты в пещерах, свисали буйные волосы; они же росли из ушей, на шее, на кончике носа, на скулах и на троглодитском подбородке. Древосадец мог одновременно служить рекламой средства для роста волос и рекламой безопасных бритв.

И как бритва преодолевала на лице древосадца буйные волосы, так в душе его культура побеждала дикие крестьянские инстинкты.

Он работал тяжело, этот шестидесятилетний древосадец. Ежедневно он возил в свое шале воду в бочке — на себе — впрягаясь в брезентовую шлейку. Он поливал свои деревья и косил меж ними свою люцерну. Эту люцерну он потом носил на себе и собирал в стожки. Собрав урожай, он шел за девять верст пешком в Змиев, покупал водку и напивался допьяна. Напившись пьяным, он страшно осипшим голосом пел песни.

Но он никогда не забывал попросить прощения у всех за то, что он — необузданный хохол — пьет водку и громко поет. А на Пасху его культурность расцветала полным цветом. Он брил свое изрытое оспинами лицо и округлый череп. После он надевал белую рубашку и застегивал ее у горла на бронзовую пуговицу. Затем он наряжался в черный сюртук с фалдами, обувал новые сапоги, надевал новые нансуковые штаны, а на голову водружал черный котелок. Элегантно придерживая котелок правой рукой, он крутил в левой тросточку с монограммой, любезно кланялся во все стороны соседям и всякий раз приветливо поворачивал голову на голой, морщинистой, как у черепахи, шее.

Так аккуратно жил и работал шестидесятилетний древосадец в своем шале на гористом берегу Донца.

VI

Но если бы эфемерная баба, созданная нашей безудержной фантазией, идя дальше из Змиева на Коропов хутор, проходила бы мимо шале доброго древонасадца, она могла бы еще многое рассказать из его биографии.

Представьте себе, что эта фантастическая баба идет по тропинке среди молодого орешника, выросшего на вырубке чуть выше дома доброго деревосадца. Я думаю, вам случалось, нечаянно наступив на конец большой сухой ветки, вдруг услышать за спиной треск и вообразить, что кто-то идет за вами; а тут еще и ветер зашуршит в сухой листве — вы слегка испуганно оглядываетесь и видите, что на тропе нет никого.

Теперь вам легко будет представить себе, что на тропинке не только зашуршали листья, не только хрустнула ветка, но и чуть запахло борщом, выпеченным хлебом и бабьим потом — и вот из-за куста появляется, ковыляет она сама, легендарная баба.

Но теперь я попрошу вас гораздо сильнее напрячь внимание. Вы должны представить себе, что эта фантастическая баба, которую нам так сложно было вывести воплощенной и одетой в черную с горошком юбку на тропинку среди орешника, немного выше дома доброго деревосадца, — что эта фантастическая баба есть не просто какая-то там баба, а первая жена доброго деревосадца, которую он в голодное время выгнал из хаты, чтобы в доме поменьше было едоков.

Я знаю, что представить такую вещь очень трудно. Нынче у нас не средневековье, чтобы здоровый мужик мог иметь в женах некое привидение, некий фантом, этакую алгебраическую формулу вместо настоящей живой бабы. Такие фантомы вместо женщин нынче удовлетворяют только интеллигентную молодежь, которая боится венерической заразы и предпочитает иметь дело с призраками. И все же представить сказанное надо. Эта баба, представим себе, была первой женой доброго деревосадца.

Он выгнал ее из дома зимой, ее и двоих детей, чтобы они его не объели. Она пошла куда глаза глядят, один ребенок пропал бесследно, а парень шатается с беспризорными и, говорят, даже приходил к деревосадцу и пробовал с ним побеседовать на дистанции. Беседа была недолгой, потому что деревосадец, смекнув, в чем дело, бодро вскочил в избу и быстро выбежал снова, щелкая по дороге затвором берданки и закладывая в нее патрон.

Правда и то, что прицелиться он вовсе не успел, так как беспризорный сын исчез в орешнике, и деревосадец, выстрелив вслед, только осыпал дробью кусты.

Листья зашуршали, хрустнула какая-то веточка, и все смолкло. На тропе уже никого не было. Беспризорный сын исчез. Старик еще раз дико выругался и вошел в хату. Ветер стих, и кусты, и тропинка, и небо над ними застыли на мгновение, как нарисованные.

VII

— Вот мое ружье, — сказал деревосадец, показывая Альчесте и Леонардо

светло-желтое ложе и темно-синий ствол берданки. — Я как только его купил, так и понес сразу к кузнецу — мы и срезали дуло на вершок или полтора, чтобы сильнее било.

— Не думаю, хозяин, что вы правильно сделали, — сказал доктор Леонардо. — Уверяю вас, что при изготовлении этого ружья были хорошо соблюдены законы баллистики, и теперь оно будет сильно разбрасывать дробь. Оно будет теперь так ее разбрасывать, что не только какой-нибудь беспризорный ребенок, но и взрослая баба проскочит целой и невредимой сквозь сеть вашего выстрела. Боюсь, что вы, совершив чин обрезания над вашим ружьем, вконец его испортили.

В этот момент что-то хрустнуло в орешнике — так слышалось сквозь открытые окна — и дрevesадец, схватив берданку, выскочил во двор. Альчеста быстро подбежала к Леонардо и спрятала головку у него на груди. Каштановые кудри щекотали лицо Леонардо, заползали в глаза. Он нежно целовал ее и украдкой радовался тонкому аромату девичьего тела, волосам и туманным отзвукам одеколона, как трюйственному аккорду, куда одеколон входил неожиданным, нелогичным бемодем. Он медленню поворачивал ее лицом к себе, она тихо закрыла глаза, и их губы стали постепенно сближаться. И вот Альчеста, хоть и стояла с крепко закрытыми глазами, увидела губы Леонардо совсем близко от своих уст. Есть такой инстинкт — не дыхание, боже упаси, потому что только совершенно невоспитанный человек может позволить себе дышать в такую минуту — не дыхание и не взгляд — ибо глаза честно и сладко зажмурены, а только инстинкт, подсказывающий, когда уста должны тихо сойтись. Еще крепче зажмурила Альчеста глаза и самую чуточку раскрыла губы...

Я чувствую, я полностью осознаю свой долг. Я знаю, что должен проянить для читателя, кто именно из любовников — он или она — должен брать в свои губы губы любимой или любимого, иначе сказать, кому принадлежит право и обязанность обнимать своими устами другие уста.

Еще раз повторяю, что честно приложил бы все усилия, чтобы помочь в решении этой проблемы, но, к сожалению, у меня нет ни минуты, ни секунды времени.

Ибо в тот самый миг, когда Альчеста слегка раскрыла губы, над головами их громом раздался выстрел.

VIII

Это стрелял дрevesадец, который, как успел уже забыть рассеянный читатель, выбежал во двор с берданкой в руке и тем, собственно, дал любовникам возможность поцеловаться.

Ружье еще курилось в его руке, он быстро бормотал себе в бороду проклятия и пристально всматривался в орешник над двором.

Доктор Леонардо высунулся по пояс в окно.

— Напрасно вы стреляли, добрый древесадец, — ласково сказал Леонардо. — Мне уже представился случай объяснить вам, что не только какая-нибудь беспризорная птица, но и целая взрослая баба, ваша жена (если бы у вас была жена), прошла бы сквозь сеть вашего выстрела целой и невредимой, поскольку ружье ваше теперь ужасно разбрасывает дробь...

Древесадец ничего не ответил, а только пробормотал сам себе какие-то слова. За минуту до этого ему показалось, что он увидел в орешнике на тропинке свою первую жену, которую он выгнал из дома с детьми, чтобы они не объедали его. Еще тогда он ясно и понятно сказал ей, чтобы она не смела приближаться к его хате, иначе он ее застрелит.

Она давно уже умерла, но что же тогда шуршало в орешнике и что за баба привиделась ему на тропинке? Не может быть, что проклятая баба такая живучая, что баба эта сумела выбраться из гроба, явиться в его хату и рассказать его гостям, как ее выгнали из дома, как один ее сын бродит с беспризорниками, как второй сын вернулся домой, а отец отрезал ему ногу и пустил просить милостыню, как отрезанная нога принесла сыну счастье, как он расторговался и стал «инвалидом» без пошлин и налогов торговать в Слобжанской столице, а теперь еще женился и собирается этим летом приехать погостить к отцу. Не может того быть, чтобы она пришла все это рассказать гостям, рассказать о первом сыне — бездомном, втором сыне — лавочнике и о себе самой — покойнице!

Но все-таки, что же шуршало там, в кустах?

Древесадец загнал еще один патрон в берданку и ушел в орешник. Он вышел на тропу и прошел по ней несколько метров. Слева в кустах что-то хрустнуло, он поднял ружье и прицелился.

Из-за листьев показалась и выпрямилась гигантская фигура человека с одной деревянной ногой.

— Это вы, отец, — сказал он холодным низким голосом. — Я потерял вот здесь ключ. Помогите, поищите, а то мне с одной ногой тяжело лезть под кустами.

Приехали вот к вам на дачу. Клава вон там сидит — обувается, что ли. Вы, знаете, смотрите получше, когда бьете с берданки воробьев: Клава говорит, на нее что-то сверху сыпануло. Я так думаю, это ваш бекасятник виноват. Только ей не говорите, потому как испугается.

Он поднял ключ, помог жене встать, и все трое медленно пошли в дом.

Если бы Леонардо и Альчеста еще оставались у древосадца, они не заметили бы никакого следа вражды между отцом и сыном, которому первый когда-то отрезал ногу, чтобы тот лучше зарабатывал, нищенствуя. Сын относился к отцу немного свысока: все же он был горожанином, а не деревенщиной, да и человеком более богатым. Отец уважал сына и лишь изредка возражал ему в духе дедовской мудрости (а эта мудрость, водясь чаще всего на печи, не имеет большого влияния на хозяйствование).

Но Альчеста и Леонардо ничего этого не увидели, потому что уже вышли из калитки на дорогу и спускались к реке, неся в руках три весла, третье из которых употребляется в Слобожанской Швейцарии вместо руля. В лесу свирель воспевала восход солнца и медленно приближалась к путникам.

— Это пастух, — сказал Леонардо, но среди древних звуков деревянной флейты он не слышал коровьих колокольчиков, и сердце его сжало злое предчувствие. Одинокая и заброшенная, пела свирель, и все ближе они подходили к ней.

— Мы поплывем с тобой, Альчеста, — сказал доктор Леонардо, — в тихие озера Слобожанской Швейцарии. До сих пор мы плыли по реке — вон там у Казачьей горы, где когда-то татары загнали казаков на кручу, гоня их из степи, и казаки сгинули, бросившись с этой крутой возвышенности в Донец — там, у Казачьей горы, кончается первая гряда гор, Донец разливается в долине и уже за Бешкинем снова подходит к второй гряде гор. Там начинается Озерная Швейцария.

Забудем о добром древосадце и оставим его решать семейные дела с помощью его непристрелянной берданки. Тем более, что ему вряд ли удастся решить семейные дела с подобающей радикальностью. Как я уже мог отметить, сквозь дробную сеть его выстрела легко пройдет конкретная взрослая баба, а не только тот призрак семейных неурядиц, который он увидел в кустах. Оставим его и посмотрим на чабана, так сладко играющего на свирели.

Сказав это, Леонардо раздвинул дерзкие ветви молодого орешника, оставил на тропе весла и скрылся в чаще. С самого раннего утра Леонардо ни на миг не расставался с прекрасной Альчестой, и теперь он почувствовал непреодолимое желание на миг с ней расстаться. Он бежал очень быстро и преднамеренно удалялся от тропы, нащупывая в кармане последний номер итальянской газеты «Воче дель Пополо».

— Леонардо! — протяжно и тоскливо прозвучал голос с далекой тропы. — Леонардо! Я тебя не вижу.

Снова орешник сжал сердце доктора Леонардо в упругих объятиях. Ему стало тошно, ему показалось, что он навсегда потерял Альчесту, что ее никогда у него и не было. Но он не смог бы сдвинуться с места, не смог бы

сойти с него, даже если бы древосадец, приняв его за призрак первой жены, нацелил бы на него свою непристрелянную берданку.

— Леонардо, ты бросил меня! — еще раз жалобно простонал нежный голос Альчесты и смолк. Орешник тихо склонился над доктором, его охватила истома, на мгновение солнце пронзило короны деревьев, и Леонардо сомлел.

Х

Между тем Альчеста, ломая руки и спотыкаясь о неподвижно лежавшие на лесной тропе весла, бежала сломя голову. Впереди что-то затрепало в кустах, — Леонардо! — вскрикнула она и бросилась к нему, но в кустах выросла огромная незнакомая фигура.

В левой руке фигура держала деревянную свирель. Ласково улыбаясь, гигант подошел к Альчесте — а та стояла испуганная и не знала, бежать ли ей назад или спросить о Леонардо.

— Я студент, — сказал гигант, — и фамилия моя Перебейнос. Мой предок когда-то вел за собой без малого семьсот казаков. Он рубил ляхам головы с плеч, а остальных топил, как вам рассказывал доктор Леонардо, когда вы плыли по лодке мимо Монастырской горы. Я только что вырезал свою фамилию на склоне и видел вас в лодке. Я хотел крикнуть с горы, ибо вы покорили мое сердце, но доктор Леонардо...

— Леонардо бросил меня, — тихо сказала Альчеста, и из-под длинных темных ресниц покатились две большие ясные слезы. Студент взял ее за руки.

— Это для вас я играл на свирели, — прямо сказал он. — Я играл мелодию, посвященную моему предку Перебейносу. Забудьте о Леонардо!

Он вытащил из кармана номер газеты, предпоследний номер «Воче дель Пополо». Затем он развернул газету, осторожно вынул из нее кусок сала и показал газету Альчесте.

«Доктор Леонардо Пацци, — написано было в газете на итальянском языке, — как оказалось, совсем не доктор Леонардо Пацци. Установлено, что настоящее его имя — дон Хозе Перейра и что он урожденный испанец. Сообщают...»

Но Альчеста не слушала дальше. Разгневанным жестом она приказала Перебейносу прекратить читать.

— Испанец! — воскликнула она. — Испанец, и он решился!.. он посмел!..

Спазмы сдавили ей горло, она пошатнулась, веки сомкнулись над горящими глазами. Перебейнос легко и удобно подхватил ее правой рукой.левой он подобрал весла и побежал по тропинке вниз к реке.

Что-то теплое и мягкое ласково защекотало шею Альчесты. Она пришла в себя и схватила рукой пушистое руно рогоза. Под собой она увидела воду. Перебейнос стоял у причала и, держа ее в правой руке, отвязывал лодку.

— Как мне называть вас, мой спаситель? — тихо спросила Альчеста.

Перебейнос ничего не ответил. Он отвязал лодку, заправил весла в уключины, положил сало на нос, посадил Альчесту на корму и двумя мощными гребками выгнал лодку на середину реки. Потом он поднял голову, и его ярко-голубые глаза встретились с темными глазами Альчесты.

— Вы можете называть меня Орестом, — сказал он. — По-нашему, это будет Ярьсь. Вы слышите, как сладко поют пчелоедки, видите, как они полыхают над кручей? Видите, какие у них золотые тела и голубые крылья? Я, сильный и веселый, повезу вас к дальним озерам.

— Орест! Нет, Ярьсь! — сказала Альчеста. — Посмотрите, как играет вода под солнцем. Посмотрите, как дугой согнулся рогоз и в дуге нежнейшей пленкой отсвечивает водяной слой. Он играет семью красками радуги, он дрожит всеми фибрами своей эфемерной души, но он живет, и породившая его вода течет мимо него в дальние озера. Ярьсь! Наша встреча — как это недолговечное водяное око: наступит ночь, и завтра его может не быть. Ярьсь! Плыдем к дальним озерам!

— Альчеста! Уже уходят назад горы, и высокие и буйные подходят к берегам камыши. Как конное войско, остановились они у воды напоить коней, и бунчуки их клонятся и реют над головами. Когда наступит вечер, они станут черными и грозными, как бесчисленные интегралы в книге профессора Струве, по которой мне, увы, придется сдавать экзамен. Трудны интегралы для казацкого внука и крестьянского сына. Но я одолею их, как эта лодка одолеет камыши в озерах, пробивая дорогу. Смотрите, камыши стоят над водой, словно конное войско. Они кивают головами и копьями, они говорят вам, что я люблю вас, Альчеста!

— Ярьсь! Уже минуем мы горы, и лес на них дрожит. Он дрожит, и никель летит на него с солнца, осыпает ясени, блестками усеивает землю и снова занимается в кронах. Слово зеленые, шелковой бумаги кроны размениваются на никелевые геллеры и падают вниз, подрывая ясеновый бюджет. Никелем блестят ясени на горах, когда мы проплываем мимо. Они вызывают вам, что я люблю вас, Ярьсь!

XI

Прошли горы — Донец разбился на Триречье и пошел одним рукавом на Гомильшу, одним под дюны налево и одним посередине. Перебейнос не греб — лодка сама неслась по среднему Донцу. Берега сжали рукав, он был

как блестящий железнодорожный путь из двадцати зеркальных рельс, плотно спаянных друг с другом. Лодка летела по стальной полосе, утки облаками снимались с лугов и со свистом пролетали над головой. На берегу сидел кроншнеп, воткнув кривой нос в илистую отмель. Чайки плескали бурыми крыльями в воздухе и внезапно, как снег, оседали на лугах.

Прямо по ходу лодки виднелся Черкасский Бешкинъ.

— Через мост от Черкасского Бешкина будет Русский Бешкинъ, — сказал Перебейнос. — Будь я вашим доктором Леонардо, — добавил он мрачно, — я стал бы рассказывать вам о слове «Бешкинъ» и о том, что может значить это тюркское слово, дальше — что такое «Черкасы» и как получилось, что оно, это слово, стало означать украинский народ, а в конце, чтобы доставить вам удовольствие, еще раз констатировал бы, что Русский Бешкинъ — деревня сифилитическая.

Но я не доктор Леонардо (как, впрочем, и он не доктор Леонардо, а всего лишь какой-то испанец, дон Хозе Перейра) и вместо статистических данных о сифилисе в Бешкине расскажу вам сказку о Великой Любви — в конце концов, что такое сифилис, как не дар Великой Любви.

На одном хуторе недалеко от Донца жил древний и мудрый дед-пчеловод. Много лет он добывал мед из ульев, много лет радужные пчелоедки ловили его пчел, и вот однажды пришла к дедушке любовь.

Но полюбил дед не молоденькую девушку, не пригожую молодницу и не старую бабу. И не юношу полюбил дед, как подумали бы древние эллины, если бы им довелось услышать мою сказку.

Дед полюбил собаку — и собака полюбила деда. Вместе они ходили на пасеку, и пчелы, уважая деда, уважали также его собаку. Ночью собака забиралась на печь, и дед спал, положив седую голову на ее большое лохматое теплое тело.

Но в любви всегда приходит беда, когда любящие неравны по возрасту. Дед был стар, а собака была совсем молодой, ей хотелось носиться по полям, охотиться, ловить все, что пугалось и убегало. И вот однажды собака задавила курицу.

Хозяева, сыновья деда, очень разгневались, но старик так грустил, что они простили собаку. И снова счастливо зажили дед с собакой, но однажды вечером собака не выдержала искушения и опять задавила курицу.

Когда дед это увидел, у него сжалось сердце, и он сделал то, против чего восставала вся его душа, — он взял палку и со слезами на глазах избил свою собаку. Но не помогло и это, и сыновья деда, чтобы не было вреда в хозяйстве, посадили собаку на цепь. Дед уже не мог обедать вместе со своей любимицей, ходить с ней на пасеку и гулять в поле и только каждый вечер приносил ей хороший кусок от своего нищего обеда. И собака, грустная и печальная, лизала деду руку, так что слезы выступали у него на глазах. И дед шел спать в одиночестве на жесткую неудобную печь.

Как-то утром положил дед в мешок хлеба, налил в миску мед, накрыл чистым полотенцем и понес продавать в город. Старик знал, что уходит на целый день и, подойдя к собаке, долго ее гладил и утешал, а потом отдал ей половину своего хлеба, поцеловал в морду и ушел в город.

Собака рвалась, выла и скулила, и прыгала на цепи, но дед уже вышел со двора. И к столбу, к которому была прикована цепь, подошли куры.

Не знаю, как это случилось, только собака вновь согрешила. Выбежали хозяева, потому что было воскресенье и они отдыхали в хате, и, увидев, что собака задавила курицу, зарубили ее топором и отрубили ей голову.

К вечеру дед вернулся из города. Он сберег ломоть хлеба, а на грош, что сверх рубля пришелся за мед, купил ломтик колбасы. Но когда он вошел во двор, собака не стала прыгать на цепи и не приветствовала его радостным лаем. Дед подошел к столбу и увидел, что собаки не было.

Значит, сыновья одумались и спустили его любимицу с цепи, решил дед. И он пошел в сад искать собаку и нарочно ее не звал, чтобы самому найти любимицу и дать ей поесть.

Он нашел ее в бурьяне — только как-то странно стояла собака и молча, совершенно неподвижно глядела на него. Дед кричал и манил, но собака не шевельнулась. Дед подошел поближе и увидел мертвую голову, насаженную на кол.

Недолго постоял дед, потом снял голову с кола, погладил ее и осторожно положил в котомку. Взял кол и отломил от него ровно столько, чтобы получился хороший посох. Потом он повернулся, вышел со двора и пошел куда глаза глядят.

XII

Уже остались позади бешкинские луга, уже три Донца слились в один и растеклись широким плесом, уже одна протока пошла за Черкасский Бешкин, уже засинела за мостом вторая гряда гор, а Альчеста все еще сидела неподвижно и не сказала ни слова в ответ на сказку Ореста.

Синела вторая гряда гор, а за ней синело и темнело еще что-то, куда более громадное и величественное.

— Гроза, — сказал Перебейнос. Еще припекало вокруг полуденное солнце, еще ни единая тень не легла на Донец, а уже росла и набухала сизая громадина на краю неба. Стремительно неслась она по правому берегу, гору за горой покрывала тень, протока за протокой темнели, и блеск сходил с воды. Тень грянула по Донцу, камыши стояли совсем тихо, над горами прогремел далекий и оглушительный грохот.

— Боюсь, будет дождь, — сказала Альчеста, — а мое пальто осталось у

Леон... у этого подлого испанца. Я промокну, простужусь и умру. Мой Ярьсь, где ты меня похоронишь?

Перебейнос не отвечал. Выбрав место в леску на берегу, он направил туда лодку. «Ой, наступает черна туча», — пел Перебейнос, и туча в самом деле наступала. Лодка ткнулась в берег, Перебейнос выскочил и помог выйти Альчесте. Подержав ее немного на руках, он будто с сожалением поставил ее на землю и принялся за лодку. Он рванул, и лодка, плеснув, как утка, выскочила на берег. Тогда Перебейнос аккуратно вынул весла, достал из лодки сало, отдал его Альчесте и, ухватившись за лодку, вдруг перевернул ее набок.

— До корчмы гулять, — допел он и, снова взяв Альчесту на руки, удобно устроил ее под кормой. Затем он набросал с одной стороны лодки песка, а с другой подпер борт ветками. После этого он сам залез под лодку, а бо-
сые ноги, не уместившиеся под ней, протянул далеко вперед, так что они оказались почти в воде.

Налетел ветер, по воде пошла рябь, ветер стих и лег штиль. Перебейнос едва успел хорошенько проверить рукой, не будет ли где протекать на Альчесту, как гром ударил прямо над головой, загудел шквал, полил дождь, словно небо, как колоссальная цистерна синего железа, расколосось на части, всюду грохотало, лило, снова раскалывалось и снова грохотало и лило.

Немой Донец за Бешкинями сразу наполнился звуками. Дождь сек дно лодки, хлестал по дереву, миллионами игл пронзал реку, ветки трещали, листва шелестела и шумела и бешеные молнии раскалывали железную цистерну неба. Альчеста прижалась к Перебейносу, как котенок, он с удовольствием простер ноги еще дальше под дождь, и они сидели молча, пока небесные грузовики грохотали громовыми рельсами прямо над их головами.

На противоположном берегу над вербой проглянул сквозь облачные космы, как слеза, чистый голубой глаз, и Альчеста заговорила.

— Эта дикая, отвратительная буря — такая же, как твой народ, о Ярьсь, — сказала она. — Пьяный крестьянин Черепаха, который люто колотит своего верного коня Володьку; зверь-древосадец, который выгнал жену с малыми детьми на мороз, отрубил своему сыну ногу и теперь стреляет по кустам, думая, что там бродит его жена; свирепые псы, убившие единственного друга деда, собаку, и насадившие ее голову на кол за то, что собака задавила какого-то цыпленка, — все они стократ хуже этой бури, они дикари, отвратительные мясники, эти люди. Не правда ли, Ярьсь?

Гром уже укатил свои чугунные бочонки далеко за Бешкинь, на Коропов хутор, молнии молча мигали где-то вдалеке, и только дождь еще мягко сеялся еще над рекой и берегами. Перебейнос достал свирель и заиграл.

Детским голосом, точно школьница, свирель рассказала, как щука-рыба отбила от берега ряску, как было лето и стала зима, как мороз-морозень-

ко сковал воду, как пришла красна весна и за рощей зелененькой пахала дивчина на воле черненьком. Когда свирель обо всем этом поведала, Перебейнос привычно обтер ее и спрятал в карман.

— Альчеста! — сказал он. — Ты слышала, как во время одной полярной экспедиции двое итальянцев, затерянные среди льдов, убили и съели своего товарища-норвежца, сожрали его сырым, потому что не было огня, чтобы сварить из него суп или хотя бы испечь его, как шашлык, на углях?

Может, ты скажешь, что это были дикие, отвратительные зверолюди, и я думаю, что ты это и хочешь сказать. Но это неправда — то были очень хорошие, культурные люди, воспитанные, образованные люди, способные испытывать деликатные и нежные чувства. Возможно, это были доктора или даже профессора.

Как же они могли так некультурно сожрать своего товарища, сырого норвежца?

Народ, о котором ты говоришь, действительно удивительный народ. Он создал чудесную музыку и живопись, и его примитивы кажутся парижским художникам акме совершенства, небывалым декоративным искусством. Он сочинил эпические песни, что не хуже кодексов Гомера. В лице своей интеллигенции он даже смог создать какую-никакую литературу и, хотя и паршивеньких, историков литературы.

Но тот же самый творческий народ, равный по художественной умелости даже негритянскому, а не только японскому таланту, этот самый народ совсем не понимает красоты. Красоты для него не существует.

В этой прекрасной реке он усматривает только некоторое средство коммуникации — возможность передвигаться на долбленке. Кроме того, он хищническими методами истребляет в ней рыбу и в плесах ее уток.

Из мягкого ласкового рогоза, который так тихо щекотал тебе шею, когда ты садилась в лодку, Альчеста, он плетет рогожи и продает их за бесценок в Слобожанской столице, продает их за жалкие гроши, хотя ты охотно заплатила бы вдесятеро больше, только бы рогоз продолжал красоваться в затоках.

Более того, в голодные годы народ выкапывал корни этого рогоза, изводя его подчистую, подсекая саму рогозовую жизнь лишь для того, чтобы самим пожрать и детей теми корнями накормить. Представь себе, они жрали корни рогоза, эти люди!

Эти горы для них просто неровные места, где нельзя пахать землю, а плесы, протоки и заливы — это, к сожалению, затопленные водой сенокосы.

Летнее время, грандиозное солнце и ясное, чистое, яркое небо всего-навсего напоминают им, что хорошо бы дождика на посев, а когда они смотрят на пахотные океаны ржи, созданные их истощенными руками, они не уплывают мечтой за волнами колосьев, но подсчитывают, сколько пудов выйdet в этом году.

Лес? Они рады были бы вырубить лес и продать древесину. Камыши? Они косят их и укрывают ими свою нищую, поганую хату. И даже ту серую цаплю, летящую над бором, они съели бы, если бы смогли ее поймать, хотя она, та цапля, жутко отдает рыбой.

Я сын этого народа, Альчеста, и я выкапывал рогоз и ел его. Я спал под камышовой крышей и я убил как-то рыжую собаку, чтобы спить себе на зиму шапку из ее шкуры.

Теперь я выкапываю интегралы из книги профессора Струве. Я хочу научиться делать лучшую жизнь. Десять лет, Альчеста, — это очень короткий срок, и за десять лет трудно поднять жизнь после двух сотен лет рабства.

Перебейнос вылез из-под лодки. Дождь перестал, Слобожанская Швейцария играла красками под солнцем. Перебейнос одним легким движением опрокинул лодку на днище и в тот же миг поймал на руки испуганную Альчесту. Оберегая ее шелковые чулочки и элегантные туфли от влаги, он поставил ее, как фарфоровую статуэтку, в лодку. Он отыскал сало и аккуратно уложил его на носу лодки. Затем он легонько наподдал лодке коленом, и та вместе с фарфоровой богиней плавно спустилась на воду. Перебейнос установил весла и собрался сесть. В эту минуту что-то зашуршало в кустах, и на берег выскочил бандит с ружьем в руках. Альчеста онемела от ужаса, Орест Перебейнос мигом развернулся влево, гигантским прыжком упал в орешник и скрылся из виду.

XIII

Альчеста успела только увидеть, что бандит был весь осыпан опилками, словно он не путников грабил, а целый день пилил дрова. Усеянное белыми опилками лицо бандита на мгновение показалось ей страшно и непонятно знакомым, будто она долгие годы каждую ночь видела его во сне. Эти мысли молнией промелькнули в голове Альчесты, а бандит, не останавливаясь, бросился к лодке и как раз туда, где было спрятано сало.

— Яресь! — в смертельном ужасе вскрикнула Альчеста. Бандит левой рукой угрожающе навел на нее ружье, а правой стал доставать из лодки сало. Добыв его, бандит шагнул к Альчесте, она закрыла глаза и потеряла сознание.

Долгие годы путешествий с доктором Леонардо, его любовь к ней, последнее путешествие в Слобожанскую Швейцарию, квас на базаре, крестьянин Черепеха, легендарная баба, добрый древосадец, его пугающая биография замелькали в ее воображении. Словно вдали заиграла свирель — и вдруг все заслонила гигантская фигура Перебейноса...

С треском разошлись ветки, из кустов вылетел Орест Перебейнос и, под-

скочив к бандиту, одним мощным ударом перебил ему нос. Бандит бросил ружье и сало, схватился обеими руками за нос и убежал в чащу, усыпая все на пути белыми опилками.

Перебейнос подошел к Альчесте и нежно поцеловал ее в полураскрытые губы. Губы его сомкнулись, как цветок львиного зева, она ответила долгим сладким поцелуем и пришла в себя.

Солнце играло по-прежнему; Перебейнос ласково улыбался, будто ничего не случилось и смерть не смотрела ей в глаза из темного зрачка ружья. Даже сало, как и раньше, спокойно и самоуверенно лежало на носу лодки.

Только на траве валялось ружье, а в руке у Перебейноса блестела какая-то длинная зубчатая вещь. Перебейнос уложил ее в лодку, положил туда же ружье и, оттолкнувшись от берега, взялся за весла.

— Бандит дорого заплатил нам за нападение, Альчеста, — сказал он. — Он утратил пилу и ружье, а раздобыл только перебитый нос. Но я не могу упрекать его за преступные намерения, и мне немного жаль, что я так неделикатно обошелся с его носом. Я понимаю его — ведь в лодке он увидел сало!

Человек, который ест только постный борщ с хлебом, а иногда и без хлеба, легко может забыть о моральных законах и о священном праве собственности, когда увидит кусок сала размером в пятнадцать кубических дециметров.

Альчеста привстала в лодке и смотрела налево. На холме стоял Лысовский хутор, и за ним начинались озера. Полноводные и тихие, лежали они в мягких берегах камыша, и глаз угадывал, что в камышах часто нет берега, а снова начинается какое-то невидимое большое озеро. Обильно покрылись ряской озера у берегов, но в середине были только белые облака в голубом небе. В коврах ряски кустами росла рябина, и кусты устремлялись вверх, как хвосты гигантских щук, погрузивших головы в самое дно глубокого озера и так и застывших.

— Ярьесь! — сказала Альчеста. — Начинается Озерная Швейцария. Я видела Фирвальдштетское озеро и Женевское озеро в Швейцарии, которая раньше снабжала весь мир швейцарами, а теперь снабжает молочным шоколадом «Тоблер».

Те озера прекрасны, они намного больше этих, и вода в них прозрачная и голубая. Но они каменные и математические, чувствуется, что в них все же не вода, а H_2O цвета не неба, а анилины, и что все это сотворили неутомимые кубисты для эпатажа американских миллионеров.

Эти озера иные. Видя их, не думаешь о том, как заливал весной Донец их воды в балки и овраги, как они покрывались камышами и кувшинками, а чувствуешь только, что вовек не выпить серым волам этой воды, вовек не разбить ряску утиному народу. Какое имя ты дашь этим озерам, Ярьесь?

Перебейнос заработал правым веслом — и лодка понеслась к камышам.

Он встал и, схватившись за стебли, втащил лодку в гущу. Перед лодкой Альчеста увидела узенькую протоку меж миллионов гибких колонн. Вверху над колоннадой протянулась такая же узенькая тропка неба.

— Как здесь уютно и спокойно, — томно вздохнула Альчеста. — Нас здесь никто не видит, Яресь. Мы одни.

Но Перебейнос не повернулся к ней. Он толкал лодку веслом по тропинке. Шелестел камыш, вверху точно замигал тонкий свист, и в рамке небесной тропы, словно на экране кино, на мгновение возник ряд живых крестов. Свист нарастал, сделался громче и затих — утки исчезли из рамки, и свист их крыльев растворился в шуме камыша. Лодка выплыла в круглое и чистое озеро.

— Это Макортетик, — сказал Перебейнос. — Озеро круглое и глубокое, как макитра. За ним, за камышами, раскинулись Белое, Крещатое и Красное озера, выходящие в лес к лесным озерам.

Он снова сел за весла и посмотрел на Альчесту. Она отвернулась и смотрела назад, в камыши.

— Альчеста! — позвал Перебейнос. — Что ты высматриваешь в прошедших, пережитых камышах? Перед нами дальние озера!

Но Альчеста не ответила. Она думала о колоннаде камышей, где было так уютно и где никто не мог их видеть. В самой прекрасной гостинице она не чувствовала себя так спокойно и уверенно, как в этом камышовом коридоре. В отелях есть замочные скважины и незаметные щели в стенах. А там, в той колоннаде, ничьи глаза не смогли бы увидеть, что делают двое любовников, разве что утки, пролетая вверху, поглядели бы на человеческую любовь — и от этого еще слаще, еще тоскливее думалось о колоннаде в камышах.

Альчеста на мгновение взглянула Оресту в глаза, и ему показалось, что в ее взгляде были пренебрежение, любовь, стыд, ненависть, холодное презрение.

— Альчеста, — в отчаянии сказал Перебейнос. Но она снова отвернулась.

XIV

Выплыли из-под лодки и остались позади Белое, Крещатое и Красное озера, но ни Крещатое, похожее на византийский крест, ни прозрачное Белое, ни широкое Красное не смыли с лица Альчесты гневной задумчивости. Она упрямо молчала и, слыша слова Ореста, только отворачивалась.

Перебейнос замолчал и погнал так, что вода закипела и заиграла под лодкой, а камыши по берегам, как зеленые поплавки, то выскакивали голыми из воды, то погружались по шею.

Наконец Перебейнос снова выбрался в Донец. Подгорье правого берега свежей сочной громадой заслонило предвечернее солнце, а за подгорьем лес Тюндик рядами взбирался на еще более высокую треугольную гору и, дерзко подойдя к самым воротам солнечного диска, удивленно останавливался и замирал на вершине, распахав облака. Эй, наверху стоял лес!

Задержанный Геивской запрудой, остановился и Донец. Не журчали в траве его воды, а наполняли лоно вровень с краями и стояли, как гигантская ванна. Казалось, одна капля могла переполнить ее и затопить весь мир. Слева тоже вырос лесок, и только в просвете между берегами то появлялись, то исчезали геивские дома.

Они появились в последний раз, и снова Перебейнос резко повернул к левому берегу. Между деревьями открылся узкий черный пролив, раздался в крошечное черное озерцо, лодка с разгона вылетела на пологий берег, заскрежетала и остановилась.

Перебейнос бросил весла, схватил ружье и пилу и выпрыгнул в лес.

— Вы забыли о вашем сале, — сказала Альчеста холодно и вежливо. — Будьте добры взять и его: я не нуждаюсь в подарках.

Перебейнос обернулся и посмотрел на нее. На солнечном лице его бо-ролись улыбка и ласковый упрек. Он нахмурился, но голос его по-прежнему был ласковым и теплым.

— Простите меня, — сказал он. — Ради всего любимого и прекрасного на свете — нет, выслушайте меня, Альчеста, хоть в последний раз, — ради того, что вы сказали там, в камышовой колоннаде, позвольте мне оставить сало в вашей лодке еще на полчаса! Вы позволите, вы не можете не разрешить!

Он подошел к ровному высокому ясеню и начал пилить его снизу.

Альчеста снова отвернулась и, срывая какие-то цветы, крошила их тонкими пальцами своих классических рук. Пила жужжала, опилки бусами легли вокруг ствола ясеня, а Перебейнос все пилил и пилил. Вдруг он вытащил из распила горячую пилу и понюхал ее. На лице его отразилось такое невероятное удивление, что Альчеста не выдержала, и в ее взгляде нарисовался знак вопроса.

— Пила пахнет йодом, — сказал Перебейнос. Он бросил пилу, кинулся к ружью и начал обнюхивать его вдоль, от мушки до приклада. У затвора его нос остановился.

— Ружье отдает касторкой! — сказал наконец Перебейнос и медленно опустил ружье на землю. Он отряхнулся, будто просыпаясь от идиотского сна. «Я не понимаю, — сказал он. — Неужели?»

Но Альчеста уже успела прийти в себя. «Меня не интересует, чем пахнут ваша пила и ваше ружье, — ледяным голосом сказала она. — Будьте добры, заканчивайте ваше дело и заберите с лодки ваше сало».

Перебейнос еще раз отряхнулся и снова принялся за работу. Ясень за-

скрипел и наклонился. «Ах!» — невольно вскрикнула Альчеста. Перебейнос вскочил по колени в воду, а яшень с треском рухнул там, где он только что стоял.

И снова Перебейнос подошел к нему с пилой. У комеля он отпилил от ствола два ровных круга, поставил их стоймя у пня, взял ружье и прицелился в центр.

— Синьора! — сказал он. — Я вынужден побеспокоить вас, выстрелив из ружья.

Альчеста зажала уши. Перебейнос выстрелил и выбил дробью середину кругов. Затем он снова взялся за пилу, выпилил цилиндрическую палку и насадил на концы ее два деревянных круга, как колеса на ось. После он подошел к Альчесте.

— Синьора Альчеста! — торжественно начал Перебейнос. — Я понимаю ваши чувства и, хотя я глубоко убежден, что никоим образом не хотел поступить неделикатно, я не стану оправдываться. Условимся, что, не остановив лодку в той далекой камышовой колоннаде, я допустил непростительную ошибку и смертельно ранил ваши чувства. Но мы не можем сейчас расстаться.

Не буду упоминать о том, что вам очень нелегко было бы самой найти отсюда дорогу к станции, чтобы сесть в поезд, который повез бы вас обратно в солнечные долины Кампании — при условии, что в вашем паспорте уже стоит итальянская виза.

Но вспомните, что вы еще не бывали на Лесных озерах Слобожанской Швейцарии.

Человеческая жизнь, синьора, — это странная и непонятная штука. Бывает, что молодой вдохновенный юноша, тщательно изучавший политическую экономию, украинскую стилистику и даже английский язык, оказывается на гражданской войне и спасается от смерти только потому, что вражеский пулемет испытал один из четырехсот шестидесяти семи сбоев, которые, как известно, выпадают на долю каждого пулемета, каковы сбой можно и нужно исправлять четырьмя сотнями шестьюдесятью семью способами; что этот юноша ревностно и нежно любил девушек и в ответ получал от них такую же нежную и ревностную любовь и напоследок взялся переводить на украинский язык роман французского академика; что этот юноша прошел весь свой долгий и разнообразный житейский путь только для того, чтобы, возвращаясь домой после интимной, веселой беседы, погибнуть под колесами трамвая!

Но вспомним еще, что этот юноша жил жизнью, заранее никем не расписанной и не распланированной.

Вы же, прекрасная Альчеста, ясно видите перед собой ваш жизненный путь. Вся ваша музыкально-гармоничная жизнь, долгие годы путешествий с ученым доктором Леонардо, последнее путешествие ваше в Слобожанскую

Швейцарию и темный финал этого путешествия — все это, гармоничное и неизбежное, возникло в сознании того, кто сотворил вас, прекрасную Альчесту, и ученого доктора Леонардо. Вы не можете не посетить Лесные озера и вы должны посетить Лесные озера вместе со мной, студентом Орестом Перебейносом.

Альчеста улыбнулась так, что у Перебейноса сразу потеплело на душе.

— Я не понимаю и половины того, что вы сказали, великомудрый синьор Перебейнос. Насколько я вижу, вы еще не погибли под колесами трамвая, и я советую вам в будущем осмотрительно переходить перекрестки Слобожанской столицы. Если вы выпилили эти деревянные колеса, чтобы погибнуть здесь под ними... что ж, и это вам не удастся, потому что я не вижу над этими колесами трамвая. А что касается доктора Леонардо, о котором мне уже легче вспоминать после того досадного инцидента в камышовой колоннаде, то вы сами показывали мне предпоследний номер газеты «Воче дель Пополо», где было написано, что он совсем не доктор Леонардо, а всего-навсего жалкий испанец дон Хозе Перейра.

Как же мне оценивать ваши философские рассуждения о гармоничности и распланированности моей жизни?

Но вы правильно сказали, что я не сумела бы сама добраться до станции. Я завишу от вашей воли. Надеюсь, что вы поможете мне уехать отсюда под вечер и во всех маршрутных делах совершенно полагаюсь на вас. Если такова ваша идея — пожалуйста, поедем через Лесные озера.

Перебейнос подкатил ось с колесами под лодку.

XV

Говорят, что распаленная фантазия художника может затмить изощренностью и необычайностью самое удивительное произведение Натуры, самый монструозный факт Реальной Действительности.

Но я признаюсь, что вместе с гражданами реалистами никогда не верил этому. И тот, кому еще нужны доказательства, должен посмотреть на лодку, которая в лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года ехала на колесах по вполне реальному лесу, среди живых и сочных осин и ясеней, причем живой студент с вычурной фамилией Перебейнос (которая действительно вырезана на склоне кручи, расположенной между Задонецкими и Короповыми хуторами, в чем каждый может сам убедиться) тянул эту лодку за весло, как за вагу, а в лодке сидела прекрасная женская фигурка — живая итальянка Альчеста. Я думаю, что этот абсурдный факт, это гротескное сочетание неожиданных, чужеродных элементов в прозаическом лесу против Тюндика сами по себе могли бы убедить наиболее упорного скептика.

Итак, лодка катилась по лесной дороге. Могучий Перебейнос, как некий запорожец, тащил черноморскую чайку на перетяжке, на носу покоилась берданка — боевая гаковница, прекрасная гемузская пленница, задумчивая и грустная, сидела в корабле, и корабль вперевалку продвигался по волнистой лесной дороге.

Словно чайка, ищущая на лугу при битой дороге своих милых деточек, лодка ныряла в ямы и снова поднимала голову, выбираясь на пологие кочки. Детские деревянные колеса неуклюже порхали в колее, и ось, как кустарная трещотка, наивно тарахтела под лодкой. Словно огромная кукла сама ехала на колесах в подарок лесному великану Вернидубу, сладко спавшему, вытянув босые ноги в камышах, где-то за Длинным озером. Так сладко спал великан, что и не шелохнулся, когда кукла подкатилась к самому берегу Длинного озера и Перебейнос стал вытаскивать из-под лодки колеса.

Он уже убрал ось, уже установил весла и собирался столкнуть лодку в воду, когда Альчеста увидела в зарослях рогоза чьи-то босые ноги.

— Орест! Смотрите! — воскликнула она. Перебейнос быстро раздвинул заросли и вытащил оттуда за ноги небольшого парня, черного и ободранного. Парень протер глаза и сказал:

— Пустите, дядя, а то укусю!

— Зачем же тебе кусать меня, вечный странник? — сказал Перебейнос. — Какая тебе от этого будет выгода? Лучше расскажи прекрасной даме о своем последнем путешествии, а я тебе за это дам, скажем, три кубических дециметра сала, потому что хлеб у тебя, очевидно, есть. Начинай, о упорный, неутомимый странник. Начинай, о, соль земли, о, разъедающий фермент, заставляющий задуматься о мещанском быте! Начинай, парень!

— Сперва покажите мне сало, — вежливо, но твердо ответил бездомный.

Перебейнос отрезал ломтик сала и дал его бездомному.

— Я сын доброго древосадца, — сказал парень. — Он выгнал меня с братом и матерью из хаты. Долго блуждали мы, ища убежища, но наконец я не выдержал такой беспокойной жизни и ушел в бездомные.

Сегодня я был у хаты доброго древосадца, моего отца — я хотел украсть доску или две, потому что мне нужно было запастись сигаретами. Но добрый древосадец выстрелил в меня из ружья, и я убежал. Я спал здесь у озера, и мне приснилось, будто где-то на лесной дороге тарахтит деревянная тележка и в ней сидит марципановая кукла. Эта тележка была очень маленькая, и ее тянул веселый серый ослик.

С лодки зазвенел серебристый смех. Это смеялась Альчеста. Перебейнос ласково посмотрел на бездомного.

— Потом я проснулся, и мне показалось, что вы, дядя, вытащили меня за ноги и дали мне ломтик сала. Вот таким было мое последнее путешествие.

— Все-таки, странник, я думал, что ты сможешь больше рассказать, — сказал Перебейнос.

— Ах, дядя! — грустно вздохнул парень. — Вы не можете себе представить, как надоедает целыми днями рассказывать. Эти сказки — это же мой хлеб, и я должен экспромтом сочинять их для каждого, кто может дать мне копейку. К тому же публика ужасно любит антихудожественные рассказы о преступлениях, грабежах, половых извращениях и венерических болезнях. Поверите ли, этот сифилис просто сидит у меня в печенках. Итак, я рассказал вам истинную правду и только немного приукрасил свой сон. Будьте готовы.

Беспризорник сделал бодрый жест рукой и, отойдя шагов на десять, лег в траву.

На лесной дороге из-за деревьев вышел добрый древосадец.

— Доброго здоровичка, — сказал он и облокотился на ружье. — У вас тоже берданка; выходит все равно как австрийский фронт. Когда я был на фронте, сидели мы раз на горе зимой, а австрийцы под нас подкапывались. И совсем близко снуют нехристи, так сажень в сотне от нас. Нам патронов дают вдосталь, говорят: «Делайте перестрелку». Ну, мы делаем ту перестрелку — так просто, чтобы стрелять, только возле меня один парень и говорит: «Дядя, я его застрелю, близко очень, собака, бегают».

«Не стреляй, — говорю, — на кой тебе черт? Делай перестрелку».

А он снова: «Дядя, — говорит, — я в него попаду, гада!»

«Да на кой тебе бес, — говорю, — он сдался? Какая тебе от того польза, скажи, глупая башка?»

А он все равно: «Попаду и попаду».

И попал-таки, дурень. Австриец как закричит, будто заяц, аж уши заложило. Подбежал к нему санитар, снял с него все, и рубашку снял — а тут холодно, зубы стучат, только глядя на него, и стал ему перевязку делать. А этот дурень никак не утомится.

«Дядя, — говорит, — я и в санитаря попаду!»

«И не говори мне, — отвечаю. — Я с дурнем и говорить не хочу. А если ты будешь людей без дела стрелять по-дурному, то вот тебе мое слово, попаду тебе самому как-нибудь в спину».

Тогда он успокоился. Вот как славно бывало у нас на австрийском фронте.

Древосадец приветливо огляделся и увидел в траве бездомного.

— Смотри мне, Илья! — сказал он. — Опять ты у меня доски стащить хотел. Я тебе говорил, что застрелю. Ну, лежи, лежи, только чтобы к хате и близко не подходил.

Древосадец выбрал удобное место, сел на траву и стал скручивать козью ножку.

Затарахтел воз, и из леса выехал крестьянин Черепеха, подстегивая своего верного коня Володьку.

— Не нужно ли кого-нибудь отвезти на станцию? — сказал крестьянин Черепеха. — Я как раз ехал за водкой, но когда проезжал мимо столба, с которого говорит на площади, сразу почуял, что не надо пить водку, потому как здорово она вредит печени. Так я и завернул сюда — лучше, думаю, вместо питья отвезу кого на станцию.

Крестьянин Черепеха остановил телегу, выпряг верного коня Володьку и пустил его пастись. Сам же он сел на траву и попросил у деревосадца махорки.

— Пусть попасется Володька, — сказал он гуманно, — а потом уж и поедем. Еще не пора ехать.

— Альчеста! — вдруг сказал Перебейнос. — Вы не поверили мне, когда я говорил о гармоничности и распланированности всей вашей жизни и вашего путешествия в Слобожанскую Швейцарию. Посмотрите же вокруг — здесь на траве собрались все, кого вам довелось встретить во время вашего путешествия: вот беспризорный великан, вот добрый деревосадец, вот крестьянин Черепеха, вот его верный конь Володька и вот перед вами я, студент Орест Перебейнос, которого вы совсем недавно называли своим спасителем.

Перебейнос умолк, и шелест пронесся по кустам, словно где-то за ними притаилась легендарная баба, причудливый плод нашего воображения, первая потенциальная жена доброго деревосадца. На мгновение показалось, будто в воздухе запахло печеной свеклой и конопляным маслом. На тихой воде озера, как горошек на бабьей юбке, лежали круглые кувшинки. Уже деревосадец вскочил на ноги и бросился за берданкой, как шелест снова стих, и ветер развеял аромат печеной свеклы. Альчеста поднялась в лодке, гордая и разгневанная, как эрехтейская богиня.

— Какова цена вашей жалкой философии? — сказала она размеренным тоном смертельного презрения. — Вы говорите, что здесь на траве собрались все, кого я встречала в своем последнем и несчастливом путешествии. Коротка же ваша память, синьор студент Перебейнос, и я боюсь, что вы не одолеете интегралы и не сможете строить новую, счастливую жизнь.

Где доктор Леонардо? Вы забыли о нем!

Ах, я готова простить ему, что он не доктор Леонардо Пацци, а какой-то неизвестный испанец дон Хозе Перейра. Любовь не знает наций и для любви нет ни итальянцев, ни испанцев.

Леонардо, где ты? Леонардо, я люблю тебя и только тебя! Леонардо, мой любимый, где ты?

Альчеста тихо склонилась над лодкой и заплакала. Никто не сказал ни слова, все сидели тихо и неподвижно. Даже конь Володька перестал рвать траву, поднял голову и, казалось, прислушался.

— Крестьянин Черепаха, — сказала Альчеста, сдерживая рыдания, — запрягите своего верного коня Володьку и отвезите меня на станцию.

Черепаха тихо встал и подошел к коню. Снова шелест пробежал по кустам, конь испуганно заржал и отпрянул, кусты раздвинулись, и из кустов вышел доктор Леонардо.

XVI

Он весь был осыпан опилками, шел медленно и закрывал лицо последним номером итальянской газеты «Воче дель Пополо».

Медленно, не произнося ни слова, он подошел к Альчесте и открыл свое лицо.

— Альчеста, — сказал он слабым, далеким голосом, — ты звала меня, и я пришел.

Альчеста, онемев, смотрела на него. Да, это был он, истощенный, усталый, бледный, как призрак, усыпанный опилками, с перебитым носом, но это был доктор Леонардо; живой и любимый, он стоял перед ней.

Словно проснувшись от тяжелого сна, Альчеста бросилась к Леонардо. Она молча целовала его припорошенное пылью лицо, раненый нос, отряхивала ручками опилки с любимой взъерошенной головы, целовала ему руки, плакала, смеялась и снова принималась целовать. Наконец, словно до смерти устав, она склонила головку ему на грудь и затихла.

— Когда мы расстались с тобой, возлюбленная, — начал Леонардо, — я случайно прочитал в этой газете, что в предпоследнем номере ее какой-то безответственный подлец опозорил мое честное, незапятнанное имя, написав обо мне, что я не доктор Леонардо, а некий испанец дон Хозе Перейра.

Но редакция газеты «Воче дель Пополо» не замедлила исправить свою ошибку. Это был предпоследний номер, а вот последний:

«Редакция опровергает досадную ошибку, допущенную в предпоследнем номере газеты по вине корректора. Окончательно выяснено, что доктор Леонардо Пацци есть действительно доктор Леонардо Пацци и не кто иной. Что касается дона Хозе Перейры, родом испанца, то удалось получить вполне определенные сведения: он на самом деле является доном Хозе Перейрой, испанцем, и ни в коем случае не нашим высокочтимым ученым, доктором Леонардо Пацци, который совершает научное путешествие по миру и в настоящее время, как сообщают, путешествует по Слобожанской Швейцарии».

— Леонардо! — вскричала Альчеста. — Леонардо! Можешь ли ты простить меня?

— Я искал тебя, о Альчеста, — искренне сказал доктор Леонардо. — Ко-

гда я догадался, что каким-то образом тебе в руки попал предпоследний номер газеты «Воче дель Пополо» с клеветнической заметкой обо мне, я потерял сознание.

Этот номер, который я еще не читал, очевидно, выпал из кармана моего пальто во время нашего путешествия, и ты смогла его найти.

— Этот номер нашел я, — честно и смело сказал Перебейнос. — Но вы понимаете, я не имел в руках последнего номера и хотел искренне и честно предупредить Альчесту. Я виноват лишь в том, что слишком верил буржуазной газете.

Перебейнос полез в лодку за газетой. Обрывки ее были рассыпаны по дну, но самой газеты не было.

— Не ищите, Орест! — мягко сказал доктор Леонардо. — Я видел, как бездомный украл сало вместе с газетой. Она нам больше не нужна.

Когда я понял, что потерял Альчесту, я решил не возвращаться обратно на родину.

За долгие годы путешествия, дорогая, любимая, я искал только тебя. Только для тебя была вся моя жизнь и все мои путешествия, и только для тебя было это последнее мое путешествие в Слобожанскую Швейцарию.

Когда я понял, что потерял тебя, я решил поселиться здесь, в тех краях, где я видел тебя в последний раз, Альчеста. Я решил жить среди этого нищего, великого, художественного, дикого народа на берегу тихого Донца, помогать его женщинам рожать, мужьям работать, а детям вырастать здоровыми и счастливыми. Я врач — и для меня везде найдется место на этой зеленой земле.

Я раздобыл ружье и пилу и начал валить лес, чтобы построить себе шале у берега Донца. Я работал, когда ваша лодка причалила неподалеку, и я видел вас сквозь листья орешника.

Признаюсь тебе, о Альчеста, что во мне проснулись дикие, свирепые инстинкты. Мое сердце наполнилось ненавистью к этому здоровому, прекрасному парню. Я выждал, пока он не спустил лодку на воду, и выскочил из зарослей, чтобы отнять у него сало.

Голод мучил меня, но иное меня поразило. Меня довело до отчаяния то, что ты, кого я любил так сильно, закрыла лицо руками, когда увидела меня.

Мое решение отнять сало стало необоримым и непоколебимым, и я взял его.

— Но, Леонардо, — тихо сказала Альчеста. — Ты целился в меня из ружья, держа его другой рукой.

— Дорогая моя, моя бесценная, моя темноглазая душа, — сказал Леонардо. — Невозможно целиться из ружья, держа его одной рукой. Я просто держал ружье в левой руке, а ты, увидев черный зрачок дула, подумала, что я хочу тебя убить. Я взял сало, как и сказал, но в этот момент Орест — и

он поступил, как герой и рыцарь — явился тебя спасать.

Очнувшись от боли, я увидел, что во время моего нападения на лодку пузырьки с йодом и касторкой, находившиеся в моем кармане, разбились — и лекарства пролились.

Собрав остатки йода и касторки, я оказал себе первую медицинскую помощь. Лекарств хватило на то, чтобы прекратить опасные процессы в раненом носу. После этого я стал рассуждать и решил, что запах йода и касторки должен был навести вас на мысль, что тот, кого вы приняли за бандита, был в действительности несчастным доктором Леонардо.

— Я догадался, — тихо сказал Перебейнос. — Но Альчеста поругалась со мной и не желала верить ни одному моему слову. Я промолчал о йоде и касторке.

— Я пошел искать вас, — продолжал доктор Леонардо, — чтобы попросить вас вернуть мне пилу и ружье — все, что осталось у меня на этом свете после того, как я потерял Альчесту.

Но когда я услышал, как ты звала меня, о Альчеста, как ты готова даже забыть о том, что было ошибочно напечатано в газете, я понял, что я самый счастливый из людей, что ты опять моя и отныне навсегда, навсегда, Альчеста.

Он умолк, и Альчеста крепче прижалась к нему. Добрый древосадец, крестьянин Черепеха, студент Орест Перебейнос тихо сняли шапки и опустили головы. Беспризорный великан тоже поднял руку к голове, но, вспомнив, что на нем нет шапки, снял с головы вошь.

XVII

— Поехали на станцию, — сказал крестьянин Черепеха. — Садитесь!

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

Однако на станцию никто не поехал. И вправду, пора было на поезд. И вправду, крестьянин Черепаха уже завел своего верного коня Володьку между оглоблей и приглашал его влезть в хомут. Верно, студента Перебейноса завтра ждала лекция о дифференциалах. Правда и то, что доктор Леонардо и прекрасная Альчеста уже устали от Слобожанской Швейцарии и стремились увидеть другие места и города. Правда и то, что они уже заплатили доброму древосадцу за ночлег и скромную пищу, и добрый древосадец, спрятав деньги в огромный кожаный портмоне и защелкнув потертые медные шишечки этого портмоне, строил чрезвычайные планы, как ему разбогатеть с этих шести рублей, например: купить на них однодневного поросенка, выкормить его, чтобы он дал двенадцать поросят, а каждый из тех еще по двенадцать; всего получалось сто сорок четыре штуки, а вместе с первым поросенком — сто сорок пять свиней. Неплохо; да еще можно было за десяток поросят взять корову, за десяток же коня, чтобы не возить на себе воду из Донца до горного шале, и с фунт табака, чтобы всегда был свой — но тут древосадец приостановил поток планировочной работы, ведь было понятно, что зависть соседей к подобной роскоши доведет его до беды — так что добрый древосадец сознательно отказался от роскоши и прибыли, которую уже ясно видел в своих руках, и постановил: деньги пропить!

Правда и то, что бездомный великан уже наметил глазом место на задней рессоре линейки, где он устроится, когда крестьянин Черепаха уделит все свое внимание верному коню Володьке: непризорный великан решил выехать на курорт через Ростов черноморским экспрессом. Правда и то, что солнце уже спряталось в подлеске, разыскивая в этом ундервуде* грибы, и продиралось среди буйных кустов, не затрещав веточкой, не зашуршав листом, как дикая, осторожная, хищная, осмотрительная оранжевая тарелка.

Все это правда, и солнце действительно тихо кралось сквозь кусты. Пора было пора ехать, но кусты вдруг затрещали, и в них появились два маленьких блестящих кольца диаметром в 17,2 мм каждое, это был «зауэр», а за «зауэром» обрисовалась черная фигура в испанском сомбреро — черная шляпа была надвинута у фигуры на самые брови, а черные брови сдвинуты над носом. За фигурой из кустов вылез рыжий сеттер Родольфо, сдержи-

* «Underwood», товарищи машинистки, означает «подлесок», да просветит свет истины ваши кудрявые головки (*Прим. авт.*).

ваемый у хозяйской ноги испанскими проклятиями: «За ногу, херес мадейра, эстевано ради мадре, за ногу!»

II

— Стой! — грозно произнесла фигура в сомбреро. Группа, собиравшаяся уехать, застыла в ужасном ожидании смерти. Доктор Леонардо двинулся было вперед, но прекрасная Альчеста схватила его за рукав. Студент Перебейнос пожал плечами. Добрый древосадец хотел что-то сказать, но вовремя осекся и облизал языком небритую верхнюю губу. Крестьянин Черепеха застыл с хомутом в руках. Беспризорный великан заполз в кусты. Только верный конь Володька нахально фыркнул и, боднув крестьянина Черепеху головой в пузо, переступил через оглоблю и снова принялся щипать траву.

— Я скажу вам, — сказала фигура голосом, от которого кровь застыла в жилах, — почему я вас задержал. Но прежде я позавтракаю. Я дон Хозе Перейра!

Дрожь пробежала по лицам людей. Никто не шевельнул и пальцем — в газете «Воче дель Пополо» сообщалось, что дон Хозе Перейра был убит в херсонских степях.

Тем временем мертвый гость стал готовить себе завтрак. Как и при жизни, он больше всего любил национальное испанское блюдо олла потрида, основным ингредиентом которого являлся испанский перец.

Из брезентового рюкзака он высыпал с полведерка стручкового перца. Покрошив зеленый перец, он высыпал его в манерку, посыпал из походной перечницы черным перцем, взял в руки журнал «Красный перец» и стал есть, зачитывая вслух фельетоны.

— Вот это я понимаю, свой человек! — сказал добрый древосадец одобрительным тоном. — Закуску понимает правильно. Только рюмку не опрокинул. Может, он уже пришел под рюмкой?

Дон Хозе Перейра ничего не ответил; мрачно сдвинув брови, он продолжал грозно есть перец. Когда душа его проперчилась до самых пяток и мозг до отказа проникся перцем фельетонов, он поднялся и, снова направив зауэровские дула на беспомощную группу людей, сказал с перцем в горле:

— Не потому я задержал вас, что прекрасная Альчеста, которую я люблю больше всего на свете, кроме охоты и революций, ненавидит меня. Не потому я задержал вас, что ученый доктор Леонардо умышленно сдал свой «зауэр» на комиссию в барселонский магазин только для того, чтобы тем самым «зауэром» отвлечь мое внимание от несравненных форм прекрасной

Альчесты, совершенно правильно рассчитав, что его блестящие дула заменят мне ее грудь, что шейка ложа будет лежать в моей руке, как ее — ах! — изящная ручка, что само ложе, к которому будет прикасаться мое лицо, станет для меня заменой брачного ложа с прекрасной Альчестой.

Но и не потому я задержал вас, что, убитый куркулем Щовбом, я теперь мертв и хочу умертвить все живое.

Я не был убит в херсонских степях, как опять-таки фальшиво и безосновательно информировала вас газета «Воче дель Пополо». Для вранья и нужны буржуазии газеты. Куркуль Щовб, метя ночью мне в голову, угодил в тыкву и расколол ее топором. Какая-то палка, заброшенная дедом в тыквы, показалась ему моим ружьем, а одну из тыкв он принял в темноте за мои черные усы и эспаньолку.

Я же сбежал и отправился в Испанию. К сожалению, Альфонса сбросили без меня. Правда, я сумел в суматохе подстрелить дуплетом двух генералов, из которых один сразу умер, а второй был ранен и скрылся в кустах у станции. Убитого я разглядел — это опять был, о проклятие фортуны! отставной и почти безобидный генерал.

Такова судьба неорганизованного, анархического революционера. На той же станции садился в поезд генерал Санхурхо, недавно провалившийся с монархическим путчем. Этот мятеж пресекла испанская компартия. Херес мадейра! Я меняю вехи. Нет революционеров, кроме коммунистов. Мы, анархисты-тираноборцы — никудышные кустари в сравнении с ними.

Итак, как сказано, я жив и еще буду стрелять!

III

Все снова застыли в роковом ожидании. Этот путаник мог увидеть в дачной компании диких уток или реставраторов испанской монархии и, подстегиваемый перцем в душе и теле, поперчить всех добрым дробным дуплетом. Добрый древесосадец не мог больше терпеть и выступил с замечанием.

— Глисты, — сказал он, — нужны человеку, как мельнице камень. Они, эти глистяки, перемалывают еду. Доктора говорят, что от них бывает вред. Брехня, вот что я вам скажу. Это от докторов вред. Я спрашиваю вас, кто хуже, волк или доктор?

— Доктор, — ответил ученый доктор Леонардо, довольный переменой темы.

— Вот! — сказал добрый древесосадец. — А почему? Вот вы мне скажите, как вы есть ученый человек, почему доктор хуже волка? Не знаете?

— Не знаю, — признался доктор Леонардо. — Разве что имеется соответствующее отличие в рефлексолого-физиологических габитусах волка и док-

тора.

— Не то. Просто волк зарежет и все, а доктор зарежет да еще и деньги возьмет за это. Вот.

— Простите, добрый пеон, — сказал дон Хозе Перейра. — Спрячьте вашего глиста и слушайте, потому что я еще не кончил.

Итак, я задержал вас не из-за личной неприязни к доктору Леонардо, хотя и испытываю ее в душе (при этом дон Хозе Перейра сделал красноречивый жест «зауэром» в сторону доктора Леонардо, а тот только пожал плечами), и не потому, что меня убили в херсонских степях, а по совершенно другой причине.

Вам нельзя ехать на станцию. Тот самый могущественный вершитель моей и вашей судьбы, заставивший меня, тираноборца, убегать в херсонской степи от куркулей на смех всей читающей публике, тот самый, кто так долго не позволял доктору Леонардо соединиться с прекрасной Альчестой, что у некоторых читателей слюнки потекли, тот самый творец не может пустить вас на станцию. Редакторы и критики съели бы этого творца живьем, если бы он заставил пролетарского студента Перебейноса платить Черепaxe целых три рубля за подводу.

Итак, студент Перебейнос пойдет на станцию пешком и переживет при этом все, что предстоит ему пережить согласно плану. Доктор Леонардо и прекрасная Альчеста наконец соединятся (при этих словах прекрасная Альчеста застенчиво прикрыла личико несказанными ладонями) в хате доброго деревосадца на радость здоровым, полным жизни читателям этой повести. Беспризорный великан вместо Ростова поедет экспрессом в Москву.

А крестьянин Черепаха сегодня выпьет, а завтра, сонный и хмельной, привезет сюда, в Слобожанскую Швейцарию, целый букет настоящей, свежей новой жизни — какой именно, я сейчас не уполномочен разглашать.

А теперь прощайте все, кого я любил, и все, кого я ненавидел. Мое место теперь в Испании и даже творец мой, вершитель судеб моих и фортуны, не смеет меня здесь задерживать. Прощайте.

Дон Хозе Перейра глубоко вздохнул и провалился, как стоял, в тартары.

IV

Словно пораженные молнией, стояли герои этой повести. Первым пришел в себя ученый доктор Леонардо и, молниеносно отыскав флаконы с йодом и касторкой, бросился помогать своему врагу. Но было уже поздно. Дон Хозе Перейра с рыжим сеттером Родольфо, с «зауэром», с журналом «Красный перец» бесследно сгинул в тартарах. Все только чихнули по

разу от следов перца, но где-то глубоко внизу словно слышался слабый отголосок шагов и возгласов: «За ногу, херес мадейра, эстевано ради мадре, за ногу!» Но и этот отзвук скоро замер в черных недрах тартарар.

V

Между тем, на живой земле начались чрезвычайные, глубокие, значительные, безмерно весомые изменения. В сырой высокой траве у утиног озер заиграла надсадная диссонантная трещотка, хотя совсем рядом за тремя кустами сустились люди в поисках дон Хозе Перейры. Это первым отозвался на чрезвычайные перемены одинокий коростель. Он долго и страшно издавал скрипучие звуки, желтым глазом присмотрел у корней травы синего жука-геотрупа. Нюх вел жука к свежей груди конского навоза, подаренной лесной природе верным конем Володькой, и жук тоже ощущал перемены. Глубоко вдохнул жук свежий воздух в могучие трахеи, вдохнул еще раз и еще и понял, что пора не уходить, а лететь на сладкий запах конских яблок. Бржзз! подлетел синий жук-навозник, но зацепился за грубую ветку осины и обиженно упал возле нее. Встав на длинные желтые ноги, коростель прервал свою меланхолическую какофонаду и съел жука, разбив, как орех, его синий панцирь. Коростелю хотелось пить, но что-то случилось в природе — и он снова завел трещотку в траве близ утиног озер.

VI

На утином озере тоже завершилось какое-то начало. Все озеро тихо заросло осокой, поднимавшейся на кочках, как снопы. Тихо жила, вечно плавающая между кочками, обильная зеленая ряска. Кусты ивняка свисали над топкими берегами и наполовину скрывали небольшое озерцо — оно было как полузакрытый густыми зелеными ресницами водяной глаз. Но глаз все же глядел водяной прогалиной посередине, малым плесом отражал небо и в плесе, как радужный ирис ока, рос ирис, и резак, и рогоз.

Кряквы спали недалеко от плеса, сложив головы под крылья. Нежнейший солнечный ветерок медленно и постепенно, как стрелка стенных часов, гнал сонные перистые тела от кочек в сторону чистой воды, и во сне кряквы инстинктивно защищались лапками от течения и снова, не просыпаясь, заплывали в заросли осоки.

Первым проснулся старый селезень, он линял, ему докучали вши. Ста-

рый боец вытянул голову на жилистой шее, где уже обозначился белый зимний ошейник, и вдохнул воздух. Он понял, что проснулся не из-за вшей. В природе, в воздухе происходили какие-то необычайные перемены, и он не мог больше спать. Он захлопал крыльями и засипел. И вот неподалеку от него закрывала молодая утка, его последняя любовь и верная ученица, последовательница его долговечной мудрости.

VII

В кустах, где сустились люди, уже замер последний отзвук переиловых шагов в тартарарах и коростель доедал синего жука; наступила тишина, и прекрасная Альчеста услышала голос утки.

— Слушайте, слушайте! — воскликнула она звонко и ясно. — Что это за звук? не тот ли незадачливый испанец кряхтит от усилий, продираясь сквозь землю из темных ужасных тартарар в ясный вечерний мир?

— Это лягушка, — объяснил добрый древоделец. — Лягушки рождаются в земле, вот как овес или пшеница после дождя, хотя никто их не сеял. Еще лягушки квакают перед дождем, потому как знают, что в дождь рождаются новые лягушки и будет им веселая кумпанья.

— Нет, это не лягушка, — с трудом, сильным шепотом произнес студент Перебейнос. — Я знаю, что это. Дайте мне ваше ружье. Один, два, три, четыре, семь, одиннадцать, — посчитал он медные патроны и взял из рук доктора Леонардо ненужную тому берданку.

Изменения, чрезвычайные перемены в природе, еще не дошли до сознания грубого человеческого организма, и студент Перебейнос не мог их почувствовать. Но короткий звук из утиног озера пронзил его слух, как зов архангельской трубы. Он выхватил из-за голенища финский нож и бросился к кустам. «Не пускайте его! Что он хочет сделать?» — закричала, как чайка, прекрасная Альчеста, любовь к которой разрушила столько молодых судеб. Но доктор Леонардо нежно взял ее за неповторимые плечи, легкие на вид и тяжелые, как нагретый солнцем виноград, в его руках.

VIII

Из кустарника долетел звон, и треск, и хруст, и хрип. Это студент Орест Перебейнос рубил ветки на засидку — он понял, что кричала утка и готовился к моменту, когда кряквы полетят на хлебные поля. Он забыл обо всем, жадным глазом выбирал самые пышные, самые крупные ветви, ру-

бил их и складывал в кучу, так что вскоре только голова его виднелась за зеленым пламенем веток, словно он вознамерился сжечь себя, как индеец, на медленном огне влажных листьев.

— Оставим его! — тихо сказал доктор Леонардо. — Он еще не созрел для любви. Помнишь коридор в камышах, где он забыл о тебе? И ты забыла, ты сама забыла, что тогда было в небе? В небе летела стая уток, и Орест забыл об Альчесте. Оставим его и не будем мешать ему сходиться с ума в кустах близ утинового озера. Пойдем, дорогая Альчеста. Пойдемте, добрый древосадец!

IX

Ни доктор Леонардо, ни прекрасная Альчеста, ни добрый древосадец не ощущали еще тайной перемены, свершавшейся в природе. Они снова выбрались горячей тропинкой к шале доброго древосадца, и на той самой поляне, где любовники когда-то потеряли друг друга, им понадобилось остановиться для отдыха. Нижняя часть поляны еще играла под солнцем, но верхняя уже тонула в сырой тени. Там прекрасная Альчеста выбрала себе пенек, собираясь мирно посидеть, но, не дойдя до пня, увидела внизу под горами нечто необычайное.

Половина моста через Донец еще была там, но половины уже не было — вместо нее колыхалось белое облако, сожравшее уже придорожный тальник и выпившее половину воды из большого Донца.

— Это — вечерний туман! — сказал доктор Леонардо и, дойдя до влажного полумрака, и сам проникся великой переменой в природе.

Иначе вдыхала и выдыхала его грудь — глубже и слаще, чем прежде. Зарождался вечер, и солнце готово было упасть за горизонт. У доктора Леонардо сразу же быстро заколотилось сердце и дрогнули колени. Он робко выпустил теплую ручку прекрасной Альчесты.

Добрый древосадец согнулся, как корявая ива над прудом, и сорвал какое-то растение.

— Эта травка, — сказал он, — тож помогает от хвори, — и присоединил ее к целой груде листьев и травы в своей фуражке. — Как придем домой, я вас вылечу. Этот листик — от сифилиса, этот цветочек — от наговора, а эта веточка — от порчи, от сглаза, значит.

— Как же вы ими лечите? — спросил доктор Леонардо безжизненным голосом. — Я тоже немного врач. — И он опустился, где стоял, на траву.

— А как, — рассудительно сказал добрый древосадец. — Потолку все это, настою на водке все вместе — и пить. Одно не поможет, так другое подсобит. Здесь тридцать три травы будет в одной настойке. Так что уж, думаю, хоть какая из них прогонит болячку, не эта, так другая.

Но доктор Леонардо Пацци не слушал его. Он думал о судьбе человека. Он снова сетовал на искажение человеческой природы.

Человек — дневной зверь, древесный дневной зверь. Ночью человек укрывается от холода и от врагов. По ночам человек спит, усталый и испуганный.

Почему же то, что должно теперь произойти у него с прекрасной Альчестой после долгих лет путешествия, после долгих ночей мук и испытаний и долгих дней обожания, почему же, с какой стати это должно было произойти между ними, усталыми и испуганными, ночью, а не среди бела дня, под ясным небом?

Он чувствовал себя как тот вор, безумный любитель живописи, что похитил мадонну Кривелли и ослеп, не смог на нее смотреть. Он чувствовал себя как тот легендарный дервиш, который всю жизнь шел горами и пересекал моря, чтобы увидеть Каабу, дошел до нее ночью и, не сумев дождаться утра, повесился на своей чалме у самой двери. Доктор Леонардо, ученый, медик и естествоиспытатель, сетовал на искажение человеческой натуры и боялся.

Он боялся, что теперь, когда он уже стоит перед дверью Каабы и та вот-вот распахнется перед ним, он не сможет туда войти и падет, как мертвый. А после этого останется только повеситься. Доктор Леонардо медленно снял с себя кожаный дорожный пояс и провел по нему раздумчивыми пальцами. Но тогда лучше повеситься, не увидев двери Каабы — этот ремень выдержит его тело. Доктор Леонардо выпустил ремень из пальцев и стал осматриваться, разглядывая вековые дубы. Пояс упал возле него на траву.

— Леонардо, милый, — расцвел в его сознании теплый бескрайний голос. — Я пойду вперед с этим добрым дедом. Тебе нечего прятаться. Я все понимаю и подожду выше, на тропе. Делай, что тебе нужно.

Х

Доктор Леонардо быстро поднял пояс. «Мне ничего не нужно, — улыбнулся он. — Я иду с тобой».

И они дошли по тропинке до шале доброго древосадца. Альчеста забежала чуть вперед и распахнула дверь перед Леонардо, сделав прекрасный реверанс.

Между тем, природа, как груши из цветастого подола, высыпала целый ряд признаков того, что воцарился вечер и солнце зашло за землю. Во ржи проснулся заяц, на всякий случай испугался и убежал, но, пробежав с полкилометра, сообразил, что жизнь во ржи пахла прекрасно, и вернулся на свое пастбище.

На опушке из норы вылез лис и долго вслушивался носом в теплые запахи, плывущие по ветру. Наконец, подобрав среди беспорядочного хора сусликовых, лягушачьих, собачьих, человеческих, коровьих, лошадиных и заячьих ароматов запах дохлого барана, принял решение и отправился прогуляться в ту сторону, где лежал этот деликатес.

Туман, словно немой сом, молча подплыл и поглотил все реки, речки и озера, и на утином озере кряквы начали тосковать. Все чаще они выпрямляли крылья, хлопали ими и молодая утка тревожным восклицательным звуком требовала ответа от соседних озер.

Студент Перебейнос наконец перестал резать ветки и понял, что нарубил на пять засидок. Он схватил немалую охапку и побежал, дрожа от волнения, к близкой воде, над которой должны были пролететь утки с лесных озер. Там, у берега, он расположил ветки круглым шалашом, внутри сделал насест и забрался туда в ожидании перелета крякв.

Все тоскливее кричала утка, но очень медленно в ее наивной неграмотной головке пробуждались обрывистые побуждения и потуги, мало-помалу оформляясь в мысль: лететь!

XI

Да и то, мысль эта отнюдь не была подобна хотя бы тем процессам, что происходят в голове историка зоологической литературы. Историк зоологической литературы мыслит примерно так:

В животе своем он слышит невнятное бурчание и чувствует как бы неприятную пустоту. Но пустота, как гласят учебники химии, стремится чем-то заполниться, например отбивной котлетой с горошком, гурьевской кашей и plombиром. Так зарождается первая мысль — поесть.

Одновременно язык дает знать, что он вроде бы пересох и был бы не против освежиться спиртом, разведенным водой и заправленным калганом или зубровкой. Так внедряется второй тезис — выпить. Соединяясь с первым, он дает первую мыслительную операцию — акт комбинаторного мышления: выпить и закусить!

Развиваясь дальше, эти процессы усложняются, доходя до эфемерных тонкостей аналитического порядка. Выпить и закусить — но за какие деньги?

Математические операции — складывание и подсчет денег, найденных в карманах — показывают, что лишних сумм, сверх предназначенных на прозаическое, будничное проживание, в карманах историка нет. Так рождается третий тезис — заработать еще денег, а на те, что есть, выпить и закусить.

После этого, надо признать, синтетические процессы идут сравнитель-

но просто. Жертву найти нетрудно — это кольчатый червь, который обитает на дне Тихого океана возле Малайского архипелага. Он водится только в этом месте и больше нигде. Ни один профессор еще не написал ни единой строчки об этом черве.

Изучая два заспиртованных экземпляра, геолог выясняет, чем живет тот червь, что он ест, как спаривается, чем он отличается от других червяков, почему он представляет собой совершенно новую породу (при этом зоолога ни на минуту не покидает мысль, что, собственно, спирт в банке пропадает зря) — и пишется статья.

Эта статья становится началом научной карьеры зоолога. Не имеет значения, что человечеству нет ни малейшего дела до этих червяков, наплевать, что актуальные темы криком взывают к нему со всех сторон — на актуальных темах не сделаешь карьеры, там все уже открыто и разработано. И зоолог идет в ресторан. Выпить и закусить.

Все это, конечно, очень сложно и показывает, что человек есть венец всех животных. В примитивной же... головке происходит только вот что:

XII

Прохлада! Тоскливый крик! сть! сть! сть твердое, сладкое, сухое! Хватит воды! сть пшеницу!

А крылья уже сами расправляются. А ноги сами отталкиваются от воды. И вдруг — плеск крыльев. Старик-селезень созрел под натиском чувств. Он сорвался и летит. Шум крыльев! сть! Опасность! Летят! Лететь!

И вот уточка уже летит, догоняя темные тела перед собой. Вокруг, сзади, спереди шум крыльев. В мышцах исчезает последний след сонной инертности. Но лететь ей лишь одним путем; им сотни лет летали предки утиного рода — с лесных озер, над лесными озерами, в степь!

XIII

Солнце окончательно зашло в душе студента Ореста Перебейноса, вечер пронял всю душу его с головы до пят и в каждой прожилке его гигантского тела пульсировал один вездесущий лозунг — начинается вечерний лет. Дон Хозе Перейра и его мистическое, чудесное исчезновение, доктор Леонардо, прекрасная Альчеста, крестьянин Черепаха, добрый древосадец, беспризорный и даже сало, которым Орест мог бы питаться целый месяц, заплясали и, взявшись за руки, скрылись в темноте. На мгновение еще вынырнуло

сало, нашпигованное значками дифференциалов и интегралов, грозно улыбнулось, сверкнуло очками профессора Струве и помчалось в диком фанданго, кружась кавалером вокруг прекрасной Альчесты.

Оставалась лишь вечерняя природа, и вся она была — ожидание.

Ждал темный луг — травы на нем едва дрожали. Ждала вода — ветерок едва гнал по ней рябь. Ждал камыш — и понемногу чернел. Ждала водяная курочка, чтобы неизвестный студент ушел от озера, ждала и снова прятала головку в зарослях.

Только сам студент Перебейнос уже не мог больше ждать. Как долгий стон, вырвался из его груди могучий, силой сдерживаемый вздох, и зашелестела и согнулась под тем дыханием черная осока у берегов озера.

Студент Перебейнос, глубоко вздохнув, вдруг снова увидел все, что было вокруг него. Прямо перед глазами, за озером, высился черный сосновый бор — как черепаховый гребень. На озерце рос ситняг и камыши вздымались к небу китайские сторожевые копья. Поднявшись от спада воды, кувшинки съежились, выгнулись и вытянулись в тысячи фантастических форм, озеро стало походить на ночное кладбище человеческих и звериных фантомных черепов, попранных и порубленных в ночном конном бою.

Над головой наконец засвистело — тс-с-с-с-с! — медленно и уверенно. Это была первая криквя. Перебейнос выстрелил, не попал и сошел с ума. Наверху, сбоку, впереди, сзади свистели крылья, криквы кружили над озером, крестами крестили небо, с плеском хлопали по воде, с грохотом, как ночной поезд, рвались из воды вверх.

Ружье застыло в руках Ореста, он замер и не мог стрелять, зачарованный грозной музыкой крыльев. Казалось, симфонический оркестр черного вечера играл песнь о мертвом селезне. Перебейнос слушал ее грозные слова, затаив дыхание.

Плесо спить. В очерет
Тікають перелякані брижі.
Келех ночі налив у плав,
Келех ніччю по вінця — мла! і от
Над щетиною бору
Появляється Мертвий Крижень.

XIV

Крила йому свистять залізнi,
Оливом повні потужні жили,

Він летить — і пізні
Птахи ховають голови під крила.
Трава тремтить у чорній воді.
Поволі він облітає озеро,
Голову витяг вперед, вперед, вперед,
Залізні крила січуть очерет,
На коліна падають лози.
І от стрілець починає бить,
Божевільними пальцями шукає набоїв,
Б'є і б'є, а Мертвий Крижень свистить
Усе ближче, все нижче над головою.
І коли ранок встає, змучений в смерть
Борнею коло чорного бору,
Човен, води повний вщерть,
Гойдає тіло з пониклою головою.
— Тіло стрільця, убитого вчора
З його останнього набою.

XV

— Открой окно, — сказала прекрасная Альчеста, — здесь можно задохнуться.

И вот, не сообразив, что он делает, доктор Леонардо толкнул небольшую раму — и в комнату влетел вечер.

Вечер был не один — то были вечера, десятки, сотни маленьких, свежих, сырых вечеров, и они сразу же запели над головами любовников. Кривобокая лампа мигала на кривобоком комоде и к ней летели и звенели бесчисленные вечера.

— Это звенит наша любовь в темноте, — сказала прекрасная Альчеста. — Это звенят бесконечные дни путешествия, полные неуверенной, неполной любви. Сейчас древосадец захрапит, во сне пиля дрова, и тогда для нас начнется новая жизнь. Это звенит наша любовь в темноте.

— Боюсь, что нет, — ответил доктор Леонардо и досадливым движением закрыл окно. — Выйдем в лес и послушаем, что это там звенит и поет меж нами и звездами.

Он снова открыл окно и выпрыгнул прямо в ночь. Неожиданно он подхватил Альчесту на руки. Он не раз носил ее на руках, и пока выносил ее из хаты, и руки его и ее тело были обычными руками и прекрасным женским телом.

Но вот его рука словно стала чужой, словно это была ее рука. Теперь ее

тело словно стало своим — будто это было его тело.

Она тоже почувствовала это перемену и замерла. Словно его кровь пульсировала там, где лежала его рука, и эта кровь подступала ей к сердцу. Она не дышала, чтобы не отрываться от этой руки, словно только что сама родила ее, эту необычайную руку.

Вдруг доктор Леонардо недовольно и резко высвободил свою руку и со всего размаха ударил по ней ладонью.

Прекрасная Альчеста вздрогнула от ужаса и обиды. Гнев ее был так силен и холоден, что она даже не вскочила на ноги. После ссоры можно простить, но пренебрежение исключает примирение. Она спокойно выпрямилась, чтобы навеки расстаться с Леонардо, не удаляясь от него ни на шаг. Однако в этот момент ее что-то смертельно укололо в шею, после в веко, после в губы, с которых готовы были сорваться слова вечного расставания.

— Комары! — сказал доктор Леонардо. — Вот кто звенел и пел, вот кого я пустил к кривобокой лампе.

Он вынул из кармана газету.

— Это номер газеты «Воче дель Пополо», где сказано, что дон Хозе Перейра погиб в херсонских степях. Возьми эту газету и выбей комаров в доме. Они все соберутся у лампы и тебе будет легко их уничтожить. Только не открывай окно, пока не погасишь лампу. Я скоро приду.

И, перенеся прекрасную Альчесту через окно в хатку, ученый доктор Леонардо остался стоять у завалинки, между домом и ночью.

XVI

Комары садились ему на глаза, на руки, на уши, на высокий лоб, на шею — там, где кончались нежные косички волос, жалили его сквозь рубашку, а один из них, найдя непрошнурованную петельку в ботинке, показал этот путь другим, и сразу десять жал впились в ногу Леонардо. Но он стоял неподвижно, ибо и в него проник великий вечер природы.

Прежде всего, он глубоко и свежо вздохнул и вдруг ощутил тысячу животворных ночных запахов и прохлад. Прохлада сена, лежавшего копной где-то в темноте перед ним, полетела, подхватила на крылья сотни неизвестных цветов, какие-то вечерние смолы и травы, какие-то леса ясеней, дубов, осин, берез и сосен неслись на него, перерастали его, он умирал и прорастал черным тополем, развел руки, и руки зашелестели листвой, полураскрыл губы, и губы расцвели соцветием всех цветов леса. Он лихорадочно разулся, и травы, мягче шелка, проросли между его усталых пальцев.

Так стоял он долго и наконец осмелился открыть глаза и с ужасом увидел, что лесная земля выросла до неба, а небо упало на землю. Уже звезды

светили сквозь лес, как сквозь тучи, а небо все ближе, все ниже соединялось с землей. Он еще шире открыл глаза и стал как слепой. Он не видел ничего — перед его глазами было все, и он сам был — все.

Какой-то комар, упившись до смерти, снялся с его уст и тихо позвенел прочь в невероятное ничто. Он полетел умирать, и таково было его последнее слово:

Вночі
дзвенить
комар.
Встають поля, підводяться гаї
І ріки підіймаються до хмар.
І хто я, я не знаю уночі
І яке століття завтра настає
І чи
Не качка оце скрикнула у сні.
Вночі
дзвенить
комар
Встають поля, підводяться гаї
І мовчки підіймаються до хмар.

В эту минуту к озеру, над которым трепетал Орест Перебейнос, подошла климова корова.

XVII

Климова корова заблудилась в лесу, отбившись от стада — сколько ни гикал на нее подпасок Омелько, она все дальше уклонялась к озерам, где можно было до отказа набить брюхо грубой, сочной травой.

Орест Перебейнос едва очнулся от мистического трепета, что охватывает всякого нормального человека во время вечернего утино перелета, когда слышал какой-то странный звук: словно кто-то лил из жбана воду. Вглядываясь в темноту, он увидел две раскоряченные задние ноги, между которыми лился на сырую землю нескончаемый поток.

Корова стояла прямо перед ним, к западу, как раз там, куда удобнее всего было стрелять, целясь в уток на фоне вечернего неба. Первым его побуждением было влечь дробью прямо в раззявленный источник бесконечного потока, но студент Перебейнос сам происходил из бедных крестьян и помнил, что рядом — и источник молока для голопузых деток.

Поток лился и журчал на сырой земле надозерья, прокладывая себе русло к озеру. Лилось и журчало так долго, что озеро, казалось, начало разбухать от прибывающей влаги. Наконец поток пошел на убыль, звук замер и хвост, сигнальным бунчуком вздетый в небо, успокоенно опустился меж раскоряченных ног.

Кряквы снова начали возвращаться к озеру и студент Перебейнос проверил заряды. Он так еще и не стрелял после первого промаха. Он поднял ружье к плечу, целясь в крякву, которая уже выпустила лапки, садясь над ситнягом.

Но вдруг кряква конвульсивно втянула лапки, с ужасом захлопала крыльями и скрылась из виду, услышав новый и более грозный звук. То ревела корова, вспомнив свое стадо и выполняя общественную функцию сплывания. Она, правда, и не собиралась возвращаться домой, бросив такое травянистое озеро, но закон предков, сложившийся еще в ту пору, когда предки эти были серыми турами, приказывал ей ревом призывать потерянное стадо.

Поревев сколько нужно, она принялась рвать жирную траву. Дальше снова немного поревела, потом снова пожрала. Затем снова поревела и поела. После снова поревела и опять стала пастись.

У студента Перебейноса так и чесались руки хлопнуть ее мелкой дробью куда-нибудь по передним ногам, чтобы не задеть молочную ферму вымени. Но он сообразил, что тогда корова будет реветь непрерывно, да еще и зайдет глубже в воду, пытаясь утолить боль. С отчаянием и печалью в надломленном сердце он поднялся. В эту минуту корова перестала реветь и пастись. Перебейнос снова присел, хотя и мало полагался на коровью этику. Где-то еще раз засвистала запоздалая кряква, корова повернула морду к озеру и молча бултыхнулась прямо в воду, топая, хлюпая и сопя в поисках травы пожирнее.

XVIII

Доктор Леонардо вошел в избу, ступая осторожно, словно нес в руках тысячебашенное, миллионнострунное, тонкозвонкое стеклянное строение, которое могло в любой миг осыпаться вниз мелким песком. Лицо, уши, шея, руки и даже ноги его горели, ужаленные комарами, но он этого не чувствовал. Он подошел к деревянной кровати, где в куче подушек, дерюг, плахт и покрывал белела сквозь ночь прекрасная Альчеста, светлее мечтательного сияния крестьянского полотна.

Она была спокойна и даже немного сонлива. В прямую противоположность тому, что пишут в книгах, романах и повестях и поют в романсах,

песенках, шансонетках и ариях, женщины в любви холоднее мужчин. Может быть, потому, что для самца любовь есть конец истории, а для самки — начало.

На этом слове прекрасные читательницы готовы закрыть нашу книгу и зашвырнуть ее под диван в отместку за такую наглую авторскую презумпцию (хотя ни одна из них, прекрасных читательниц, не знает, к сожалению, что такое презумпция). Но речь не идет о присутствующих. Прекрасные наши читательницы — и вправду те трепетные, нежные, застенчивые, огненные мимозы, о которых пишется в книгах и поется в песнях. Но прекрасная Альчеста, тем не менее, была спокойна и даже немного сонлива. Поэтому она элегантно протянула руки к онемевшему, потустороннему Леонардо, и он сел на край деревянной кровати.

Он молчал и сидел неподвижно. Он думал о долгих годах путешествия с прекрасной Альчестой, прекрасных незавершенных годах. Сегодня они впервые должны были завершиться.

Он знал, что и для него это первое завершение не будет последним, что вторая и третья ночи будут роскошнее и полнее этой, робкой и дикой. Но он знал также, что всей роскоши и полноте скоро настанет конец: пусть месяц, пусть полгода, но они иссякнут и осыпятся. Придет время, и погибнет великая Троя, и прекрасная Альчеста будет так же искренне волноваться и ждать, как теперь волнуется и ждет он. Но он тогда будет все чаще поднимать голову и искать глазами в мире других женщин, пусть они и будут хуже и слабее прекрасной Альчесты. Не говоря уже о прекрасных читательницах этой книги, которые будут казаться ему тогда недостижимыми, непредставимыми, небесными существами.

Все это он заранее пережил, сидя у деревянной кровати, на которой белела прекрасная Альчеста, светясь в ночи среди туманных облаков крестьянского холста. Да, сейчас она была прекрасна. Более того — вне ее ничего в мире не было. Он был как Калигула, который мечтал соединить все человечество в одном теле, чтобы отрубить ему голову одним ударом. Он объединил всех женщин в одном теле, чтобы сразу оплодотворить весь мир. И он решился это сделать.

XIX

Когда они, словно дети, лежали рядом, ему казалось, что он в самом деле стал детенышем и покоился в материнском тепле. Нежно, повелительно и любовно она устроила его, как ребенка, будто все, что ему было нужно — это сладко заснуть в теплом гнездышке.

И вот, согреваясь возле нее, он рос и рос и рос, становился юношей, ста-

новился взрослым человеком, становился мужчиной, а она делалась все более юной, в ней просыпалось все больше девичьего, и наконец она стала маленькой, озорной девчонкой. Чем дольше играли они, тем меньше ему хотелось играть. Мышцы его становились более тугими, наливались уверенностью, он становился как сталь, и она начинала его бояться.

И именно тогда, когда должны были завершиться долгие годы путешествия, дверь распахнулась и вошел добрый деревосадец.

— Простите, — сказал он, — я ведь забыл дать вам лекарство от всякой хворобы. Вот, попробуйте выпить, и вам сразу полегчает.

В руках у него была водочная бутылка, набитая целительным зельем, что вело свое зеленое существование в потемневшем спирте.

— Так вы выпейте, — сказал деревосадец и вышел из хаты.

Доктор Леонардо вскочил с кровати и принялся ходить по комнате, куря папиросу за папиросой. Время от времени он подходил к кривобокому комоду и награждал его пинком. Когда в соседней хате наконец снова захрипело, как в давно не ремонтированном моторе, он принялся за работу.

Он перетащил через всю комнату кривобокий комод и нагрузил ящики всеми тяжестями, какие только смог найти в доме. Сверху он пристроил глыбу, на которой стояло в углу ведро с водой. Ведро тоже поместилось на комод рядом с камнем.

Два скамьи легли крест-накрест поверх комода. Он собрал с кровати большую часть подушек и покрывал и завалил ими дверь сверху.

Разыскивая тяжелые вещи, он нашел где-то старый медный пятак, взвесил его в руке и положил сверху на баррикаду. Затем он снова присел на край деревянной кровати, на которой белела прекрасная Альчеста, что была в ночи светлее святых свитков крестьянского полотна. И снова как не было ярости.

XX

Так просидел он долго и услышал, как кто-то заплакал за окном: не тихо рыдая плачем древней вдовицы, а завывая и скуля, как мужчина с отрубленными руками, мечтающий зубами перегрызть врагам горло.

То был новый гость из глубин ночи, прошедший двадцать пять километров по лесу от своего жилья, чтобы только добраться до хутора, где, как он знал, его никто не пустит в хату.

Эти двадцать пять километров он проделал не по дороге и даже не по тропинкам, а напрямик через овраги и горы, сквозь кусты и кустарники, буревалы и ветроломы. Ни разу не ступил он спокойно там, где ступала человеческая нога; такие места он перебегал, как волк, как ветер, как дикий

зверь, не оглядываясь назад.

Он подошел к хутору и взвыл, потому что знал, что никто не пустит его в дом, а ему этой же ночью надо было возвращаться назад, проделав путь в двадцать пять километров через овраги и горы, сквозь кусты и кустарники, буреломы и ветроломы.

Прекрасная Альчеста вскочила с кровати и всем телом прильнула к Леонардо. Но доктор Леонардо не обнаружил никаких признаков волнения.

— Это волк, — сказал он. — Если его никто не прогонит, он может укарасть гуся, а то и зарезать жеребенка. Вероятно, он очень голоден.

— Но нас он не съест? — спросила прекрасная Альчеста со свойственным южанам гиперболическим представлением о волках.

— Нет, — коротко ответил Леонардо. — Брось думать о нем. У нас есть более страшные и важные дела.

И серый лесной бродяга снова сблизил любовников, разобщенных добрым древосадцем.

XXI

Сам бродяга словно понял, что ему не рады, а может, вынюхал где-то собак — так или иначе, он отступил и стал обходить хутор осторожным, широким кругом.

Это был еще молодой волк-пятилеток, но прекрасный воин и испытанный боец. Хотя он был худ, как турецкий святой, и ребра торчали у него из-под шерсти, а на бедрах, как два рога, выпячивались голые кости, все мышцы его сухого тела были скоординированы безупречно; он прошел двадцать пять километров и мог пробежать еще пятьдесят, не запыхавшись. Он легко мог бы зарезать двухлетнего жеребенка, но голод и тренинг толкали его на куда большие подвиги.

Обойдя три четверти хутора, он поймал в южном ветре запах коня; к этому запаху не примешивались ароматы навоза и аммиачный дух конюшни. Обонятельный образ лошади выпукло вставал из зеленого окружения травянистых ароматов; это был индивидуальный портрет здорового, откормленного коня, но чужого для этих мест.

Пятилеток начал осторожно приближаться к аппетитному портрету, идя зигзагом так, чтобы конь ни на мгновение не мог потянуть носом из-под ветра его собственный запах.

Конь-чужак спокойно пасся у ограды крайней южной избы, где хутор спускался к боковым затокам Донца. Он был стреножен, но это не слишком ему мешало, потому что травы росли здесь привольно и их не надо было искать.

Хозяин его был в доме и долго не выходил оттуда, так что конь ухитрился вытащить из подводы сумку с овсом, разгрыз ее и тем самым заложил субстанциальный фундамент для легкой травяной закуски, которой ему должно было хватить на всю ночь. Он дважды подпрыгнул и в этот момент ветер немного переменялся. Конь прижал уши и стал, готовясь скакать до утра, спасая свою жизнь — на одну короткую секунду он учуял запах волка.

Но он забыл, что его передние ноги связывали путы. Это был верный Володька, конь крестьянина Черепахи.

XXII

Пятилеток уже шел прямо на коня, залегая под каждым кустом и распахивая все ярче. По звукам коротких прыжков, доносившимся до его слуха, он понял, что конь был стреножен, и твердо постановил во что бы то ни стало съесть его — такой конь не мог ни защищаться, ни убежать.

Пятилеток пересек полянку и залег под последним дубовым кустиком. Конь стоял неподвижно и только дико сопел и хрипел. Дальше ждать было не к чему и пятилеток выбрался из-за куста.

В это время крестьянин Черепаху вышел из хаты кума проветриться и изрыгнуть ту часть водки, которая уже не давала ему сидеть и клонила его ноги в сон.

Пьяный, как ночь, он подошел к подводе и привычным жестом потрогал дерюгу, проверяя, все ли вещи на месте. Пьяный, как дым, он сразу заметил, что нет сумки с овсом.

На минуту он задумался. Первая мысль у него была такая: пойти и проломить куму череп бутылкой, чтобы не воровал овес. Но крестьянин Черепаху хорошо и пьяно помнил, что хозяин Клима не выходил из хаты.

Ясно было — хоть в голове все шло кругом, хоть звезды налезали друг на друга, хоть у телеги везде были колеса, колеса и колеса, на которые он три раза подряд натыкался коленом — ясно было, как трезвому днем, что овес украл верный конь Володька.

Итак, крестьянин Черепаху занес руку с пустой бутылкой над головой и, качаясь, словно на цирковом канате, попытался добраться до верного коня Володьки.

Вынырнув из глубокой тени на лунное гало, он увидел, что верный конь Володька не ест, а застыл в дикой, ужасной позе, неподалеку же от него лежит здоровенная серая собака.

Этот факт положил конец его колебаниям. Собака не могла украсть овес, это правда, но зачем же наказывать своего верного коня Володьку, когда можно покарать чужую серую собаку?

Это было столь очевидно, что крестьянин Черепеха размахнулся и запустил бутылкой в собаку. Хрясь! больно ударила она по ребрам. Собака прыгнула и исчезла из виду. Ни звука! Крестьянин Черепеха даже стал сомневаться, попал ли он. Удар был сильным, но собака даже не завизжала. Почему же собака не скулила? Крестьянин Черепеха задумался. Его пытливый ум не любил нерешенных проблем — и он подошел к проблеме досконально.

Для начала он изрыгнул на траву часть водки вместе с неперевавленными кусками кислого огурца и всяким капустно-свекольным хламом. Он внимательно взгляделся в изрыгнутый материал, но не нашел там решения проблемы молчаливой собаки.

Подвода с шестью колесами, верный конь Володька с шестью ногами и двумя головами, звезды, наскакивавшие друг на друга, как воробьи — все это были замечательные, конкретные факты, но и они не вели к решению проблемы молчаливой собаки.

Крестьянин Черепеха отрыгнул еще часть водочно-огуречного крюшона, и стало ясно, что без водки это дело не разберешь. Итак, погрозив кулаком подводе, коню и звездам, он медленно направился назад в хату.

Тем временем пятилеток бежал, не оглядываясь, в лес.

XXIII

Впервые в жизни он видел стреноженного коня, который мог на таком расстоянии нанести удар по ребрам. Это был заколдованный конь, и пятилеток торопился оставить как можно больше километров между ним и собой. Однако на участке между двумя рожицами, где пролегали три долинки, он остановился. Что-то топало, хлюпало и булькало в средней долинке.

Пятилеток забежал так, что смог потянуть ветер: это была корова, одна в лесу, в такую пору. Она стояла посреди топкой долины, по брюхо в воде, и не могла ни бежать, ни защищаться. Пятилеток деликатно вошел в воду, он ступал так, будто шел по бархатному ковру, и каждая лапа, как сестра, приходилась в уже продавленное сестрой углубление. Что-то шевельнулось в кустах за его спиной, и волк остановился.

Умолкла и притихла корова, ей уже начало казаться, что пора бы и домой. В ее медленном мозгу тяжело заворочались медленные воспоминания о всяких жутких ночных запахах, воспоминания эти задирали хвосты и ревели, жевали друг друга и от страха тяжело роняли на землю свежий навоз.

Затихло также в кустах за спиной волка, но пятилеток был не из забывчивых. Надо было осмотреть кусты, и он повернулся к ним мордой, силясь уловить в ветре причину таинственного шелеста.

Вдруг что-то тяжелое, острое, огненное ударило его прямо в морду и

сразу над лесом взвился близкий гром. Он хотел бежать и не мог: глаза его ослепли, нос ничего не чуял и лапы конвульсивно дергались не в ту сторону, куда нужно. Он не мог больше ни пугаться, ни бежать, ни даже стоять. Он лег и умер.

Тогда из кустов вышел студент Орест Перебейнос и мрачным шагом побрел к нему. «Бродячая собака вместо криквы!» — горько улыбались его полусжатые губы. Но надо было добить, чтобы собака не мучилась, и студент Орест Перебейнос зажег спичку над трупом.

— Здоровенная псина! — сказал он одобрительно. — Как раз перебил ему нос. Но что за порода? Это не деревенский кабысдох... Неужели немецкая овчарка? Это волк! Не может быть! Нет, это волк!

Волна буйной радости заливала голову Перебейноса. Это, пожалуй, будет лучше криквы. Он поднял волка за передние лапы и распрямил перед собой. Голова волка упала ему на плечо и лязгнула мертвыми зубами.

Услышав этот лязг, климова корова больше не колебалась. Она выползла из болота и тяжелым галопом зашлепала по лесу. Она задрала хвост и редела, и от испуга гулко роняла на землю тяжелые лепешки навоза.

XXIV

Серый волк сделал свое дело — он снова сблизил любовников, разобщенных добрым древосадцем — и он умер.

Поэтому приходится, взяв за руки умных читателей и прекрасных читательниц, спешить, что есть духу, к шале доброго древосадца, где ночью белела прекрасная Альчеста, что была светлее мутного шороха крестьянского полотна, а на краю деревянной кровати сидел ученый доктор Леонардо.

К сожалению и несчастью, умный читатель с прекрасной читательницей опоздали на целых три минуты. Пока происходили события у климовой хаты и рядом с утиным озером, уже успели завершиться долгие годы путешествия доктора Леонардо.

Он уже успел встать и свалиться как сноп в звонкое сено, наваленное на завалинке. И, лежа тут, как неживой, в серебряном от росы сене, он пережил самые необыкновенные мгновения.

Завзятый шопенгауэрианец, он объяснял себе эти мгновения тем, что удовлетворенная, пресыщенная воля на миг уснула, и освобожденный на этот краткий миг интеллект сверкнул, как дальняя молния, среди глубокой тьмы подневольного существования на службе у воли. Вот что пережил в сияющем от луны сене доктор Леонардо:

Живительное тепло растеклось по телу, по рукам, по ногам, дошло до пальцев и заснуло. Все мышцы ослабели и распустились, как соль в теплой

воде. Тело перестало существовать, то тело, которое минуту назад могло перевернуть лицом вверх землю и стремилось оплодотворить весь мир.

Счастье мое! Поплыли самопроизвольные образы, он не осознавал их, лишь видел перед собой в темноте, и были они красочнее жизни, ярче галлюцинаций.

Перед ним встал во мраке дон Хозе Перейра. Руки скрещены на груди под плащом. Лицо грустное и суровое и брови скрещены морщинкой над болезненными глазами. Морщина углубилась и протянулась, стала долиной — по ней бежал серый волк, пришедший из дальних лесов. Желтые глаза его вспыхнули в темноте, как фары, и это был уже локомотив, без насыпи и без рельс он выбирался болотом вверх и шипел меж кустов. Кусты насторожили уши, как зайцы, и бросились врассыпную по полям. Племенем в полях шли поляны и выбирали место для веси, где поселиться, и вот уже за клубился дым и так тихо было — не зазвучало ни единое било, а дым вставал длинный, как дерево, и вправду стал деревом.

Дерево же прошло над подлесками и встало среди лета, между землей и небом. Корни его пронизали всю землю, крона его закрыла тучи, в кору его, как оранжевый жучок, заползло солнышко, и стало темно. Доктор Леонардо заснул.

XXV

Между тем дон Хозе Перейра, меж бровями которого бежал серый волк тоски, не остановился у завалинки, где лежало сонное сено, а вошел в комнату и лег возле прекрасной Альчесты и она отдалась ему, чувствуя свою к нему ненависть. Дон Хозе исчез в предрассветном тумане, вместо него появился с волчьей шкурой студент Перебейнос, зашедший по дороге к древосадцу попить воды, и тоже лег возле прекрасной Альчесты; доктор же Леонардо спал и видел все это в синева сна. Орест Перебейнос тихо пошел дальше, а в комнату, разжигаемый стариковской страстью, ворвался добрый древосадец. Он сам выпил свое универсальное лекарство, сделался молод и прекрасен, волосы под носом расцвели, как гиацинты, щербинки на лице поросли вместо щетины райскими лилиями, и он тоже стал подлезать к прекрасной Альчесте.

Но она как раз встала и стояла у ведра с водой. Так и случилось, что добрый древосадец сразу отрезвился от любви и от настоящего на спирту зелья и, мокрый, но вежливый, обычным тоном спросил у прекрасной Альчесты, не пора ли ставить самовар, чтобы она могла напиться чайку.

XXVI

А ночь, предчувствуя свою скорую гибель, продолжала творить чудо за чудом. Крестьянин Черепеха и хозяин Клим окончательно помирились и, поцеловав друг друга в ухо, решили идти ловить рыбу. Взяли с собой две бутылки водки и одну луковицу и, подготовившись таким образом, пошли на Донец. Забыли только взять удочки.

Но ночь творила чудо за чудом и удочки им не понадобились. Крестьянин Черепеха так и не смог перейти через дорогу.

Это была зачарованная ночь. Высоко-высоко поднимал он ногу, чтобы ступить на дорогу, но нога опускалась и он снова оказывался в траве. И так всю ночь поднимал он ногу к звездам, которые сияли прямо над ним, и нога снова падала в траву, а он не подвигался вперед ни на шаг, хотя спину его крепко поддерживала и подпирала земля.

Клим же, наоборот, не мог приподнять ногу. Нога его так хорошо опиралась о землю, что поднять ее можно было, лишь пробив землю. И звезд не видел Клим, ни одной. Перед глазами его была темная, сырая, беззвездная ночь, до того сырая и песчаная, что земля набивалась ему меж зубов и в ноздри.

От удивления и гнева и страха перед такими чудесами ночи крестьянин Черепеха и хозяин Клим заснули, не дойдя до Донца.

XXVII

А ночь, умирая, продолжала творить чудо за чудом. Поезд родил на станции целую кучу маленьких детенышей, не таких, что боязливо цепляются за материнские узлы и вытирают сопли о юбку, а веселых, смелых детенышей, которые, только родившись от поезда, захватили станцию и перрон, словно ласточки, с миллионноголосым щебетом рассеялись в темноте в тростниках у Белого озера.

За ними на перрон вышел небольшой человечек с черными усами, в засаленной кепке. Это был слесарь Шарабан, и он начал набивать в трубку табак. Он ждал рассвета.

Но до рассвета было еще неблизко, и ночь снова творила чудо за чудом.

Студент Перебейнос с некоторой тревогой наблюдал, как изменялась местность вокруг. Где были тропинки, выросла буйная трава. Где были лесные поляны, расстился непроходимый, непролазный подлесок. Светлая дорога стала колоссальной полосой стерни и растворилась в колючих бороздах. И всюду была вода. Разливались новые огромные озера, которые не-

возможно было ни обойти, ни перейти вброд. Всякая черная полоса была камышом и за камышом была вода. Перебейнос уже вымок по пояс, но лучше не становилось. Он поплыл, но и плыть было невозможно — кувшинки опутывали ноги и тащили его вниз. Наконец он бросил искать сухую дорогу и пошел прямо туда, где сверкала между черными берегами чистая вода. Там можно было хоть плыть свободно, и он собирался доплыть до станции.

Но ночь творила чудо за чудом. Чистая вода, сверкавшая впереди, оказалась песком среди сосен — сухим, белым песком, только это была уже другая сторона Донца, задонецкие хутора. В эту волшебную ночь берега поменялись местами. Побрел по пескам студент Орест Перебейнос, а куда, знала лишь ворожея-ночь.

На этом не остановилась ночь и забрела ворожить в самый Змиев. Кооператоры, собравшись на предбазарное совещание, установили цену на лук, и цена та, благодаря ночным чудесам, была выше цен частников.

Умирая, творила ночь дивные, удивительнейшие чудеса. Бахтинский селянин Григорий Труш, начитавшись с другими баптистами библии, пошел трусить мережи и увидел в болоте черта. Черт барахтался в болоте, как конь, сам же был черный, как болото, и селянин Григорий Труш побежал домой. Утром он нашел разбросанные мережи и ни одного карася. Только на берегу виднелись следы словно бы сверхчеловеческой ноги и валялся зловонный окуроч в три щиколотки длиной, не иначе как брошенный анциболотом в виде издевки над родом человеческим.

Но когда ночь дошла со своими чудесами до железнодорожной станции и некоторые из деток начали плакать и проситься к маме, в дело вмешался слесарь Шарабан и вступил в вооруженную борьбу с ночью.

С этой целью он сформировал из своих героев два партизанских полка по восемь душ в каждом и отправил двухполковый отряд в бор с приказом собирать сухие ветки. Навалив кучу веток, в песке выкопали печи и стали греть чай и печь картошку. Сам же слесарь Шарабан лег на песочек у огня и снова принялся набивать в трубку табак, раздумывая, как бы ему одним махом покончить с ночью и ее неуместными чудесами. Он, человек конкретный и материалистический, как шайба, должен был прекратить этот средневековый балет.

XXVIII

Слесарь Шарабан долго лежал так и, присматриваясь к луне, заметил, что на ней имелась прорезь для отвертки, правда, выщербленная и покорябанная чьими-то неумелыми руками, но все же прорезь. Луна же явно выступала главной чудодейкой и пособницей ночи в ее мистических фокусах.

Не теряя ни минуты, слесарь Шарабан достал отвертку из своего жестяного ящичка и стал примеряться к луне, глядя вдоль стального жала на свет. И вот ижевская отвертка со стальными накладками на рукоятке приплась в аккурат на тот шлиц.

Слесарь Шарабан ввел жало точно в прорезь и, надавив, что было сил, чтобы не поцарапать луну, стал медленно вращать отвертку. Проржавевший шуруп заедал, но слесарь Шарабан давил все сильнее, и наконец отвертка стала медленно поворачиваться. Дальше пошло легче: слесарь Шарабан открутил луну и положил ее рядом с собой на песок. На месте луны в небе осталось бледное круглое пятно среди застарелой черной ржавчины.

На том не успокоился слесарь Шарабан и принялся вывинчивать звезды, отвинтил целую гору, а на небе все еще оставалось множество звезд.

Слесарь Шарабан закурил трубку. Ему было даже немного жаль старой небесной машины, но время не ждало и, в конце концов, все это так или иначе должно было пойти на мартеновский лом. Поэтому слесарь Шарабан достал стальной пробойник и начал выбивать звезды ударами молотка. Раз! звезда покатилась с неба. Раз! звезда покатилась с неба! Раз! Раз! Раз! звезды прятались за темный край горизонта. Раз! Раз! Раз! от звезд оставались одни лишь бледные следы на темно-ржавом небосводе.

Таким способом он вышиб почти все звезды из ночной ризы. Но одна не хотела поддаваться и только нагревалась от ударов молотка. Раз! Раз! Раз! Звезда сидела на месте и лишь разгоралась красным сиянием. Слесарь Шарабан понял, что то была утренняя звезда — и убрал пробойник.

Он встал к кузнечным мехам и стал дуть на звезду. Звезда теплела и разгоралась, а над землей веял из мехов предрассветный ветерок.

XXIX

Ветерок поднимался и крепчал, а слесарь Шарабан все стоял возле мехов. Наконец занесенные ветром от звезды искры упали на край небосвода и он занялся огнем. Пот лил со слесаря Шарабана, ветер хлопал его рубашкой и на ходу сушил ее, а он все раздувал и раздувал меха. Пепел облаками взвивался над горном и ветром сдувало облака далеко за горизонт, но старая машина все еще не желала гореть, а только краснела ржавым заревом.

Вдруг десятки детских лапок вцепились в веревку и стали помогать Шарабану; медленно, но все сильнее начал разгораться край небосвода. Слесарь Шарабан вытер рукавом пот со лба и проснулся. Всходило солнце.

Приняв двух любовников, прекрасная Альчеста заснула сладко и глубоко и не видела снов. Она спала тем мертвым сном, о котором шопергауэрианец Леонардо говорил, что в том сне человек переживает будущую и прошлую правду как ясновидец, но забывает все это из-за фальшивых и фантастических снов засыпания и пробуждения.

Она была в родной своей Италии, у нее был сын — черные ресницы и голубые глаза, — и у мужа ее, доктора Леонардо Пацци, была никелированная табличка на дверях дома в Мантенье. Так глубоко спала она, что и не почувствовала, как разверзлись тартарары и поглотили ее, не забыв проглотить и мантию, губной карандаш и флакон с падуанскими ароматами.

Ученый доктор Леонардо боролся дольше. Он проснулся перед рассветом, и предрассветный ветерок зашевелил сено и наполнил тело его холодной дрожью, а дыхание роскошной как яблоко радостью — и тогда он ощутил, как под ним начала медленно расходиться и распадаться завалинка. Он скользил вниз и падал, словно во сне, в колодезь.

— Сгинь, тартар! — умолял доктор Леонардо. — Я ведь не только трагедийный хор в этой флоро-фаунной комедии. Нет, я главный любовник этой книги, ее несчастливый Пьеро, и если мои ремарки, комментарии и глоссы и являются декоративными украшениями книги, то любовь моя реальна, она теплая и живая, и она дает мне право вечно жить среди этих долин и холмов.

Но он неуклонно скользил все ниже и был уже вровень с землей.

— Я блуждал и страдал! — в отчаянии воскликнул он и схватился за рыхлое сено, сено расползлось под его руками, и только сухая пыльца чабреца осталась на его пальцах — и с чабрецом в память о Слобожанской Швейцарии поглотили его тартарары.

Выйдя утром с берданкой проверить, не украдены ли доски, добрый древосадец увидел провалившуюся завалинку. Сперва он сделал пантагрюэлистические, гулливеровские выводы о силе любви доктора Леонардо и прекрасной Альчесты, но быстро понял, в чем дело, и робко отступил от черной дыры в завалинке.

— Не бойся, добрый древосадец, — раздался из-под земли далекий голос доктора Леонардо. — Твой облик, красочность твоего языка и твоя обрезанная берданка спасли тебя от тартара. Задуманный, как крестьянский резонер, ты преуспел и будешь жить в своем шале до самой смерти. Живи!

Но добрый древосадец так испугался, что залез в погреб и просидел там до вечера. Вечером он взялся за лопату и засыпал завалинку, которую «провалили какие-то фулиганы».

Студент Перебейнос избежал тартара в тот ночной миг, когда решил

плыть по глубокой воде до станции и поэтому вышел на сухой песок. Песок был сухим, как солнце и сыпучим, как сон — не раз пробовали разверзнуться тартарары, и снова и снова их засыпало песком. Теперь он был уже недалеко от станции.

Крестьянин Черепеха, хмельной и сонный, на рассвете запряг лошадь и поехал на станцию. Он так и не внял угрозе, нависшей над ним и его верным конем Володькой. Правда, по обе стороны дороги перед его глазами то появлялись, то исчезали длинные черные щели, но он хорошо помнил, что накануне выпивал — и не верил ничему.

— Не надо было так налегать на свеклу, — сказал он. — Огурцы так огурцы! Не мельтешило бы так перед глазами!

И на всякий случай он огрел верного коня Володьку кнутом между ушами.

XXXI

Между тем, над станцией поднялось утро, ежедневная высокая радость рабочих, крестьян и охотников, незнакомая другим, кому ведома лишь ежедневная вечерняя тоска.

Оно было — началом и не знало себе конца. Оно было ребенком и радовалось само себе. Оно было утром и потому рано вышло на свет.

Крестьянин Черепеха долго протирал глаза. Навстречу ему шли детки, а слесарь Шарабан, словно старшина конной сотни, попыхивал сзади трубкой.

— Заворачивай, — негромко, но веско сказал слесарь Шарабан. — Бери, Черепеха, этот выводок и вези его в Гайдару.

И детки облепили линейку, как пчелы.

— Ты видишь, Черепеха, — сказал слесарь Шарабан, когда верный конь Володька снова ступил на пройденный путь. — Раньше я водил партизанские полки и бил Махно, Деникина и Петлюру. Теперь же мне вверили этих поросят, чтобы я отвез их на природу.

Что ж. Они будут воспринимать природу просто, как перепела и пшеница. Они будут есть и пить ее, как хлеб и молоко, без всяких интеллигентских выкрутасов, но и без твоего коммерческого подхода, о, крестьянин Черепеха. Только они, наши дети, воистину станут частью нашего ландшафта. Только они будут настоящими во всем, наши социалистические дети.

У нас еще много фальши и фокусов. И у рабочих хватает, а у крестьян и подавно. Ты крестьянин, Черепеха?

— Понятно, что не граф, — с достоинством ответил крестьянин Черепеха.

— Ну, так вот, и тебя не будет. Всего вашего брата не будет, середняко-

вая вы категория. Твои и мои дети все равно будут рабочими на железных и зеленых заводах. Понял?

— Как это так, середняковая категория?! — обиделся крестьянин Черепеха. — Вы, товарищ, презумптивно оперируете формулами и дефинициями, которых нет у классиков марксизма. Я, крестьянин Черепеха, говорю вам: я был, есть и буду. Фихте и Гегель...

— Не пугай меня цитатами, прошу, — сказал слесарь Шарабан. — Я уважаю тебя, середняк Черепеха, но ты как климова корова. Ты задираешь хвост и бодаешься рогами. Ты вечно пережевываешь одну и ту же идею и хочешь вовек иметь два желудка вместо одного. Ты был и ты есть, но тебя не будет. Дай руку, будущий рабочий зеленого завода.

Крестьянин Черепеха вытер руку о штаны и пожал руку слесарю Шарабану. Слесарь Шарабан пыхтел трубкой, и в голубых клубах дыма уже вырисовывались перед ним невероятные контуры Слобожанской Швейцарии.

ЭПИЛОГ

Прошло десять лет, и много воды утекло озерами, Донцом и Трире-
чем. Днепростан поставлял дешевую электрическую энергию. Крестьянин
Черепаша варил себе курицу в электрическом котле и одновременно раз-
говаривал по телефону с сельсоветом о необходимости немедленно устроить
дождь над посевами. Беспризорный великан, побывав в санатории и шко-
ле, стал профессором римского права и жил в одном городе-саде с инже-
нером Перебейносом Орестом. Они часто встречались на теннисе и говори-
ли о былых временах, поминая добрым словом путешествие в Слобожан-
скую Швейцарию.

Дед после долгих странствий вернулся на родину, умер и его похорони-
ли рядом с его собакой. Добрый древосадец помирился с сыном-велика-
ном и, приезжая к нему в город-сад, учился играть в лаун-теннис.

Только об одном я не сумею рассказать вам, дорогие читатели и еще
более дорогие читательницы, а именно о том, что произошло с тиранобор-
цем доном Хозе Перейрой, с ученым доктором Леонардо и прекрасной Аль-
честой после того, как завершилось их путешествие. Я не могу вам ничего
об этом рассказать потому, что ни дона Хозе Перейры, ни доктора Леонар-
до, ни прекрасной Альчесты никогда не существовало на свете и они не ез-
дили ни в далекие степи, ни в Слобожанскую Швейцарию.

Я их выдумал.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«...Таким образом, пейзаж не может быть адекватно передан в литературе в обычной описательной манере. Но если какому-нибудь писателю случайно придет в голову мысль о перестановке взаимных ролей пейзажа и действующих лиц, это будет уже нечто совершенно иное. Герои, трактуемые лишь как картонные куклы, движущиеся декорации, тем не менее могут придать необходимое движение описанию пейзажа (благодаря естественной тенденции читателя следить за их движением, как если бы они были реальными живыми людьми) и таким способом сделать “пейзажное повествование” вполне читабельным. Но никто еще сознательно не ставил перед собой такой задачи».

Да! Любезный сердцу моему читатель и еще более милая очам моим читательница! То, что вы сейчас прочитали — это перевод английской цитаты, помещенной перед книгой.

С сокрушенным сердцем и не смея поднять глаза свои, автор смиренно признается, что на протяжении всего Пролога и всего Путешествия нагло водил вас, прекрасные читатели и читательницы, за ваши (классические) носы. Автор притворился, будто он (как всякий порядочный литератор) собирается показать вам настоящих людей и настоящее их путешествие по декоративным местам с табличками «Степь» или «Местность у Короповых хуторов». Зато автор этот, мечтая показать вам настоящие пейзажи степей и лесостепей, обрисовал их со всей серьезностью и искренностью, на которые был способен, и для того не пожалел никаких усилий.

Но, рассуждал автор, ни рассудительный читатель, ни прекрасная читательница не захотят читать об одних пейзажах и бросят книгу, не дойдя до третьей страницы. Поэтому автор прибегнул к уловкам.

Он вырезал из декоративного картона человеческие фигуры, приклеил их на деревянную основу, грубо разрисовал их условными красками, протянул проволоку сквозь их картонные туловища и весело задвигал этими фигурками под палящим солнцем живой, настоящей степи и под влажной сенью настоящих яворов Слобожанской Швейцарии. А чтобы читатель, случаем, не подумал, что фигурки эти живые, автор в самых патетических местах, разорвав им картонную грудь, высовывал оттуда свою лохматую голову, а кое-где (пусть сто раз простят ему умный читатель и прекрасная читательница) и просто поливал их из театрального пожарного шланга холодной водой.

Итак, дорогие мои, не сердитесь на проволоку и картон, и патлатую голову автора, и холодный душ, не сетуйте на то, что фигурки в бессмысленном танце появляются, исчезают, поворачиваются к вам спиной и вооб-

ще морочат вам голову своим абсурдным поведением. Нигде не написано, что автор в литературном произведении обязуется водить живых людей по декоративным пейзажам. Он может попробовать, напротив, водить декоративных людей по живым и сочным пейзажам.

И если вы, рассудительный читатель и прекрасная читательница, не уснув, дочитали до конца эту книгу Пейзажа, то сколько бы вы ни сердились на автора за картонные и провололочные его фокусы, он считает, что выполнил свою задачу (хотя теперь и не совсем уверен, что стоило подобную задачу перед собой ставить). Так что а Dios! — прощайте — как говорят испанцы.

СЕМНАДЦАТЬ МИНУТ

(Новелла)

В апреле... в Харькове на 17 минут
пропало электричество (факт).

Я вышел из парадного в апреле в пять часов вечера и огляделся вокруг. Я размышлял, куда пойти. Свободный, сырой вечер. Праздник.

Я еще раз посмотрел вокруг и ничего не увидел. Затем медленно повернулся и пошел на восток.

Кучками шли люди, парами постукивали каблучками женщины, призывая оглянуться на них и встретить сизоокий взгляд интересных глаз.

Впереди ковылял старикан в черном пальто с бархатным воротником, на котором бедность выела с десятков лет. На широкий, словно из грушевого корня высеченный затылок, на седые взъерошенные волосы надвинута английская военная фуражка.

Я не люблю идти за стариками. Я опередил его и медленно пошел дальше.

Мелькнул трамвай — он меня обгонял, как я когда-то пешком обгонял конку. Сверкнула витрина с волком и скрещенными ружьями, мигнули коробки с конфетами, и я дошел до Университетской горки.

Перед горкой я достал папиросу и взял ее в зубы. Поднявшись на десять ступеней, на крыльцо, я достал спички и оглянулся назад.

Екатеринославская протянулась синей стрелкой на запад — на закате под вечерним солнцем она сошлась в вороненое жало и впилась в темно-сизую тучку.

Я оглянулся и увидел старика в пальто с бархатным воротничком. Он дошел до горки, пересек трамвайные пути, дошел до ребят с одесским ванильным шоколадом и вдруг остановился.

С горы я видел: он оглянулся вокруг невидящими глазами.

Я почувствовал это по его фигуре — он оглядывался вокруг, но ничего не видел.

Он еще раз огляделся. Внезапно повернул и пошел обратно по Екатеринославской. Он ничего не забыл — все было хорошо — он не сделал ни малейшего жеста — он спокойно пошел назад, ковыляя кривыми ногами в

тяжелых американских ботсах.

Это профессор! Скорее, гимназический учитель. Я знаю, как он живет. Он либерал, но проклинает советскую власть. Он немного читал Шевченко, но до сих пор не выучил украинский язык, хотя прожил в Харькове с десяток — больше! — лет. Он таскал на себе муку зимой и старуха пекла ему на железной печке хлеб. Детей у него нет или они куда-то уехали — ага! — сын его сбежал с Врангелем...

Все это было ясно, как апрельский вечер, когда даже мутная вонючая Лопань отсвечивает аристократическим фиолетом.

Но зачем он пошел обратно? Он не гуляет, он быстро ковыляет кривыми ногами в слоновьих американских ботсах.

Я закурил папиросу и спустился по лестнице вниз. Старик дошел до Лопанского моста. Я ускорил шаг и пошел за ним в двадцати шагах позади.

Старик неустанно ковылял ревматическими ногами. Он сошел с моста и перешел на левую сторону. Я пыхнул дымом — мне долго придется за ним идти. В коробке было еще полтора десятка папирос.

Вдруг старик остановился перед витриной, где стояли пирамиды желтого прозрачного вина и темных запеканок.

Что такое?

Я был невероятно удивлен. Мимо меня прошла пара лаковых башмаков рядом с желтыми сапогами. Вынырнул дядька и сказал, что он хочет есть и если бы не засуха, его не было бы здесь в городе. Но я не видел, я смотрел на старика. Он снова оглянулся невидящими глазами. Я спрятался за дядьку и выгреб из коробки горсть папирос.

— Видите ли, у меня нет денег.

Старик постоял еще с полсекунды, повернулся и пошел дальше.

Я обнял дядьку за плечи и тихонько отвернул его от себя:

— Мне нужно идти за стариком.

Люди шли навстречу и отставали по пути. Я смотрел на женщин в модных пальто, с красивыми ножками. Когда-то я так сильно хотел, чтобы они были моими, раздевались у меня в комнате и ложились на кровать. Я сильно хотел и по вечерам бродил по улицам, словно гадкий утенок среди лебедей. Теперь я смотрю на них благосклонно и пренебрежительно. Я знаю, что они хотят меня не меньше, чем я их, а многие даже больше.

Я точно знаю, сколько стоят лаковые туфельки на дамских ножках. Я знаю, какой будет такая ножка, если ее разуть. Она немного меньше моей жилистой ноги пешехода, на ней скрюченные, примятые пальцы с коротко, у самого мяса обрезанными ногтями.

Но все же в этот вечер я благосклонно смотрю на сладостный изгиб каблука. И я знаю, что та девочка в красном платке...

Она чуть толкнула старикана и он посмотрел на нее. Теперь мне не нужно было приглядываться — я знал, что он ее не видел и, будто споткнув-

шлись о пенек, заковылял дальше.

Прошли еще две девушки в красных платках, еще трое парней с ними — чего это их так много?

Они идут с собрания, озабоченные и веселые.

Старик ковылял дальше.

Близ Ярославской он снова перешел на другую сторону. Солнце потемнело — у пивной стояла уже проститутка. Слесари из электрической сказали ей что-то — она звонко и весело ответила матерным словом. Но слесари пошли дальше.

Старик миновал две улицы и, словно колеблясь, остановился перед обшарпанной дверью.

Я стал стоймя — это была бильярдная. Ах да, я забыл, что он не видит — он может остановиться перед столбом, перед пустой пивной бутылкой, перед молодым экономистом, обдумывающим статью о производственных отношениях в Китае, перед желтым кавказцем, который хочет за пять копеек навести блеск на его американские бутсы.

Но сейчас он стоял перед бильярдной:

КАФЕ БИЛЛИАРДНАЯ

Кафе. Я знаю, что ни в одной бильярдной отродясь не пахло кофе. Там можно купить водку и напоить ею в задней комнате намеченного фраера.

Старик передернулся в лице и потрепал седую бородку клинышком. Потом он взялся за щеколду. Вошел в бильярдную.

Табачный газ сизой дымкой обвивал потные фигуры с выпученными глазами и дрожащими руками, которые, поднимая вверх тонкие трости, сновали в тумане вокруг столов.

Вокруг на скамьях сидели жучки, одетые под денди, под студента, под красноармейца, под голодного батрака, под наивного бухгалтера, под шикарного служащего Кожтреста.

Старик прислонился спиной к надписи:

ИГРА НА ДЕНЬГИ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ

и смотрел, как пойманный фраер выложил на зеленое сукно червонцы и высыпал серебро.

Старик машинально потрогал карман и, словно испугавшись, выскочил из бильярдной.

Стемнело. Исчезли красные платки, рабочие спешили домой, дядька готовился улечься спать у крыльца.

Торопились дамы, продающиеся оптом на срок не менее двух недель, и

лениво, вперевалочку шли дамы, продающиеся в розницу на срок не менее получаса и не более, чем на одну ночь.

Гимназический учитель спешил — он на всю жизнь отдал сердце Керенскому.

Он повернул на Усовскую и вышел над железную дорогу. Грохотал поезд из Киева, который не привез ему сына.

Я прикурил у проститутки и остановился.

Старик смотрел не на поезд, а на дверь с табличкой врача.

Потом он повернулся, задел меня полкой своего пальто и пошел обратно.

Фонарь блестел на бархатном воротничке — он шел правым боком назад, ничего не видя и останавливаясь на секунду, когда ноги отказывались идти.

Я хотел догнать его и спросить о сыне, но две проститутки будто нечаянно заступили мне дорогу.

— Девочки, — сказал я ласково, — пустите, не валяйте дурака, мне не скучно, видите вон того старика?

— Тю, нашел на кого зырить! — сказала девушка и дала мне пройти.

Старик пересек улицу, вышел на площадь Розы, повернул в переулок и пошел к электрической.

Перед мостом через Харьков, какдохлый кит, лежал старый нефтяной бак.

Старик оказался перед баком, оглянулся невидящими глазами и направился к реке.

В окне станции мигал дизель. Я посмотрел в окно.

Казалось, что стальной гигант стоит, и все двигается и ходит вокруг; дизель тяжело дышал, гоняя динамо за двоих — его брат стоял неподвижно.

И вдруг фонари на улице погасли. Я обернулся.

Старик исчез.

Я не стал его искать. Я вспомнил, как он останавливался перед витриной с вином, перед бильярдной. Я понял его. Он искал на улице весну семнадцатого года, когда он отдал свое сердце Керенскому.

Фонари погасли. Семнадцать минут он не будет видеть столицу Советской Украины. Семнадцать минут он будет жить своим мартовским вдохновением. На семнадцать минут исчезнут большевистские вывески без ятей. Семнадцать минут он будет видеть невидящими глазами красно-бело-синие полосы на реющем в темноте флаге.

Семнадцать минут он будет жить весной семнадцатого года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первая часть повести М. Йогансена «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию» была опубликована под этим заглавием в харьковском альманахе *Літературний ярмарок* (№ 1, 1928); в № 8 за 1929 г. появилась вторая часть, «Неимоверные авантюры дона Хозе Перейры в Херсонской степи».

Отдельным изданием, под заглавием «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию», повесть вышла в харьковском издательстве «Пролетарий» в 1930 г.; сюда вошли пролог, две книги и эпилог. В сборнике «Оповідання», опубликованном издательством «Рух» в Харькове в 1932 г., к повести прибавилась третья книга (содержавшая и отсылки к другим вошедшим в сборник произведениям), а также «Послесловие».

Предлагаемый перевод выполнен по изданиям 1930 и 1932 гг. Исходя из общей логики текста, эпилог из издания 1930 г. размещен перед авторским послесловием.

Многочисленные стихотворения, вкрапленные в текст, даны в украинском оригинале; попытки их поэтического переложения мы оставляем более одаренным переводчикам. В примечаниях читатель найдет их подстрочный перевод. Всевозможные топонимы региона «Слобожанской Швейцарии» разъяснялись только в случаях особой надобности.

В примечаниях использованы некоторые анонимные комментарии из сетевой публикации повести в «Электронной библиотеке украинской литературы» университета Торонто (<http://sites.utoronto.ca/elul/>).

М. Ф.

С. 7. *Coelum ... currunt* — «Только ведь небо меняет, не душу — кто за море едет». Цит. из «Посланий» Горация (Epist. I, XI, 27, пер. Н. С. Гинцбурга).

С. 7. *...only dull ... critics only* — Автоперевод дан в авторском послесловии, за исключением обрывка первой фразы («...только скучные, скудоумные, болтливые идиоты») и пояснения: «(Из неопубликованного эссе автора о “Пейзаже в литературе”. Цитируется исключительно для использования критиками.)». В эпиграфе сохранена орфография автора.

С. 8. ...«Уэбли Скотт» — точнее, «Webley & Scott», основанная в конце XVIII в. и существующая по сей день британская оружейная фирма.

С. 8. ...*бывает и теперь, что люди, вернувшись из-за границы, только и могут рассказать...* — очевидно, реплика по адресу авторов европейских травелогов, распространенных в советской литературе 1920-х гг.

С. 9. ...добрался бы до известного латвийского порта — обыгрывается выражение «ехать в Ригу» (рыгать).

С. 9 ...*меццо-тинто* — разновидность гравюры на металле, в которой изображение отличается плавными тональными переходами, создающимися благодаря особой технике обработки медной доски.

С. 9 ...«*зауэр*» — ружье производства германской оружейной компании «J. P. Sauer & Sohn», основанной в 1751 г.

С. 11. ...*полиграмотой Коваленко* — т. е. с выдержавшей множество изданий с 1920-х гг. «Книжкой политической грамоты» П. А. Коваленко.

С. 11. ...*ретривер* — Ретриверы — тип охотничьих собак; ретриверы должны находить и приносить хозяину подстреленную дичь.

С. 12. ...*генерала Примо де Ривера* — Мигель Примо де Ривера (1870-1930), испанский военный и государственный деятель, диктатор Испании в 1923-1930 гг., отец основателя и лидера партии «Испанская фаланга» Хосе Антонио Примо де Риверы (1903-1936), сыгравшего важную роль в становлении фашизма в Испании.

С. 12. ...*Синявского* — О. (А.) Н. Синявский (1887-1937) — известный украинский языковед и педагог, много занимавшийся нормами украинского литературного языка. Был репрессирован и расстрелян в 1937 г., реабилитирован в 1958.

С. 12. ...*В чис-тім ... бїб* — «В чис-том по-ле у до-роги я по-встре-ча-ю... дед... де-да... и дам ему кусок хлеб... хлеба. Дед бу-дет есть хлеб и ка-тить боб» (*искаж. укр.*).

С. 15. *Чи вмерли вулиці ... поле* — «Умерли ли улицы, или один я иду / С рабочим днем за плечами? / — За берегом города — леса, / За лесами леса недвижны. // Звонят огни и ныряют в ночь, / Звон вьелся в железо. / Иду и не пойму, не сочту лиц / — Уже поздно. // Умерли ли улицы, или один я иду / К себе с одинокими глазами? / За берегом города — леса, / За лесами безмерные ночи. // Не слышу ничего. В январскую ночь / Заблудился я, осенний олень. / Не падал снег с поздних плеч, / За плечами поле и поле» (*укр.*).

С. 15. *Щир, щирей и щиріца, амаранты* — Формальное название сельскохозяйственной культуры, известной как щиріца — амарант (лат. *Amaranthus*).

С. 16. ...*Слобожанскую Швейцарию* — «Слобожанской Швейцарией» называют красивую местность к югу от Харькова вдоль реки Северский Донец; в основном расположена на территории современного украинского Национального природного парка «Гомольшанские леса».

С. 16. ...*голубя на гринере* — Гринер — неофициальное наименование верхнего

запора стволов ружья, изобретенного в начале второй половины XIX в. английским оружейником В. В. Гринером; изображением голубя маркировались ружья производства компании «J. P. Sauer & Sohn».

С. 17. ...рубель — здесь: длинная жердь для придавливания груза сена, снопов и т. п., которую по бокам воза прихватывали веревкой.

С. 18. *Степ сповила ... день* — «Степь обвила огромная борода, / Ведет овес и па-сет просо / На край земли, где голубая вода / Стоит в озере, подоткнутая и босая. // А по небу идут водяные возы / Над океаном пахотной страны. / Старый чумак берется за комель / И нагружает спины облаков. // По берегам восстания и песен / Над река-ми советских революций / В дальний путь собрался день» (укр.).

С. 19. *Муці, руці ... перуці* — Мути, руке, гнутся, подводы ... штуки, в отчаянии, мнутся, пари (укр.).

С. 22. ...гоны — старинная украинская народная мера длины, от 60 до 120 саже-ней.

С. 23. ...улететь с Дунькой на Марс... инженеру Мэнни — отсылка к утопиям русского ученого, революционного деятеля и писателя-фантаста А. А. Богданова (1873-1928) «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1912).

С. 23. ...манлихеровская винтовка — Винтовки, разработанные австрийским ин-женером Ф. Манлихером, состояли на вооружении армии Австро-Венгрии во время Первой Мировой войны.

С. 27. ...вымышленный лес — у автора букв. «легендарный».

С. 28. ...«Воце дель Пополо» — итал. «Голос народа» (*La Voce del Popolo*). Автор едва ли имеет в виду конкретное издание: известный туринский еженедельник с та-ким названием, начавший выходить в 1876 г., до 1933 г. носил иное название, а пуб-ликация выходившей в Фиуме с 1889 г. *La Voce del Popolo* была прекращена в 1921 г.

С. 29. *А Донец в Харькове поганый!* — Смысл этого небольшого анекдота в том, что «Донец» повести, т. е. Северский Донец, в Харькове не протекает, в отличие от упомянутой чуть ниже речки Лопань.

С. 29. ...фотографом Довбней — видимо, имеется в виду харьковский фотограф В. М. Довбня (1875 — ?). Был арестован в 1928 г. и позднее приговорен к трехлетнему заключению за антисоветскую агитацию; реабилитирован в 1996 г.

С. 29. ...Новую Баварию — Новая Бавария — исторический район на юго-западе Харькова в современном Новобаварском районе; название происходит от открытой здесь в конце XIX в. пивоварни выходца из Баварии Ф. Гершгеймера, выпускавшей знаменитое пиво «Новая Бавария».

С. 29. ...*терофазеритовый* — Терофазерит (террофазерит) — искусственный крошечный материал из спрессованного цемента и асбеста.

С. 30. ...*за Мжой* — Мжа — речка под Харьковом, впадающая в Северский Донец у г. Змиев.

С. 31. ...*в Слобожанской столице* — т. е. в Харькове.

С. 31. ...*Провалье* — долина под Змиевом.

С. 31. ...*Ахиллеса... Черепаха* — Обыгрывается апория древнегреческого философа Зенона Элейского (ок. 490 — ок. 430 д. н. э.) касательно Ахиллеса, пытающегося догнать черепаху.

С. 33. ...*степного тура ...носившего на своих рогах князя Мономаха* — В своем «Поучении» киевский великий князь Владимир Мономах (1053-1125) рассказывает, как «два тура метали меня рогами вместе с конем».

С. 34. *Як ми з нею ... і день* — «Когда мы сней лугами шли / Расцветали луга по пути// ... Под ногами не было земли / Ни плыть, ни встать, ни идти //... В берегах давно дремал Донец, / Как косарь, лег на спину спать. / Она взглянула — и родился ветерок, // Она остановилась — и ветерок затих. / Как заснул в небе белый шум / И забыл уплыть за океан, / Как перо, которым теперь пишу, / Утонуло в сонном озере // ... Как сжег зеленую лесосеку / И погас, рыжая, нивяник, // Как проходили ночь и день, и ночь, / Как проходили день и ночь, и день».

С. 39. *Это «король-рыбак», как зовут его англичане — Kingfisher (англ.)*, употребляется чаще всего в отношении обыкновенного или голубого зимородка (*Alcedo atthis*).

С. 40. ...*тот самый Перебейнос...* — имеется в виду казачий полковник XVII в. Максим Кривонос, прозванный «Перебейнос» (? — 1648), один из руководителей казацко-крестьянских восстаний и ближайших соратников Б. Хмельницкого; участвовал в многочисленных боях с поляками и запятнал свое имя чудовищными еврейскими погромами.

С. 41. ...*Иггдрасиль* — мировое древо германо-скандинавской мифологии, исполинский ясень, воплощающий вселенную.

С. 42. *Ах, дерево... серед літа* — «Ах, дерево в памяти глухой, / Что вознеслось над горизонтом давних лет / И так в поле звездном уснуло. / Словно не звезды то были, а деревьев / Рай-деревом (сиренью) раскинулось над миром / И одолело пыль, и победило пырей / И выросло в Иггдрасиль / — Морями, облаками и снами окутанный. / То дерево в детский край ведет, / В туман, закипающий над рекой, / За холмы, где-то далеко-далеко за которыми / Покажется тайна и растает сно-

ва / В рожь, чей знаменосец ветер / Зовет за те холмы встретиться, любовь, / С тобой. / Под деревом, стоящим среди лета».

С. 43. ...*Живой церкви* — Живая церковь — обновленческая церковная организация в СССР, возникшая в мае 1922 г. при активной поддержке ГПУ.

С. 45. *Випливає цапля ... сонце-полуниця* — «Выплывает цапля из туманов, / Тихо крыльями моя машет птица, / Словно в листья утренних лесов / Из сердца точит кровь — и кровь становится земляникой. / И еще тише канула за грани / И растаяла где-то далеко за горами / Цапля — может, то был аист, / Утонула в тишине багряной. / И над плахтой клетчатой полей, / Чем выше, тем слаще спится / В ночь любви, близ последних снов / Родилось солнце-клубника».

С. 47. ...«*змиевым валом*» — «Змиевыми валами» называют систему древних оборонительных укреплений по берегам притоков Днепра к югу от Киева; здесь как оборонительное сооружение из земляных валов и рвов.

С. 51. ...*бекасятник* — т. е. снайперское ружье; само слово «снайпер» происходит от англ. *snipe* (бекас), поскольку стрельба по бекасам считается исключительно трудной. У охотников «бекасятник» чаще используется именно в значении «меткий стрелок, снайпер».

С. 54. ...*профессора Струве* — Возможно, имеется в виду астроном Л. О. Струве (1858-1920), в 1894-1919 гг. профессор Харьковского университета, возглавлявший в свое время физико-математический факультет.

С. 57. ...*щука-рыба ... черненьком* — цитируются украинские народные песни «Ой одбила щука-риба», «Було літо, було літо», «Ой, Морозе, Морозенко», «Ой прийшла весна», «Ой за гаєм, гаєм».

С. 61. ...*Макортетик ... макитра* — Макитра — широкий глиняный конусообразный горшок с шероховатой внутренней поверхностью, предназначенный для перетирания семян или приготовления хлебного теста. «Макортетик» соотносится с украинским названием макитры (макотерть).

С. 65. ...*чайка ... гаковница* — Чайка — беспалубный плоскодонный парусно-гребной челн запорожских казаков XVI-XVII вв.; гаковница — европейское дульнозарядное ружье XV-XVI вв. с «гаком» (крюком) у приклада, которым в данном случае можно было уцепиться за борт для уменьшения отдачи.

С. 65. *Словно чайка... деточек* — обыгрываются строки из украинской народной песни «Ой горе тій чайці».

С. 67. ...*эрехтейская богиня* — подразумевается Афина, которой был посвящен Эрехтейон, один из главных храмов древних Афин. Развалины его можно видеть на Афинском Акрополе.

С. 72. ...*олла потрида* — также олла потрида, олья подрида и т.д., испанское блюдо из различных сортов мяса, тушеного с овощами.

С. 72. ...«*Красный перец*» — иллюстрированный сатирическо-юмористический журнал, издававшийся в Харькове в 1922 и регулярно в 1927-1933 гг. Был закрыт вследствие репрессий против редакционного состава.

С. 73. ...*генерал Санхурхо* — Хосе Санхурхо-и-Саканель (1872-1936), испанский военачальник, генерал; в августе 1932 г. возглавил неудачное антиправительственное восстание, был приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение. Получив амнистию в 1934 г. и, находясь в Португалии, стал одним из организаторов путча 1936 г., означившего начало гражданской войны в Испании.

С. 78. ...*Кривелли* — Карло Кривелли (ок. 1430-1495), итальянский живописец, автор картин на преимущественно религиозные сюжеты, чьи работы считаются ярким индивидуальным выражением поздней готики.

С. 79. ...*историка зоологической литературы* — так у автора. Ниже описываемый ученый именуется и «зоологом», и «геологом».

С. 81. *Плесо спить... останнього набою* — «Плес спит. В камыши / Убегает испуганная рябь. / Бокал ночи налил в поток, / Бокал ночью до краев — мгла! и вот / Над щетиной бора / Появляется Мертвый Селезень (кряква). / Крылья его свистят железные, / Оловом полнятся мощные жилы, / Он летит — и поздние / Птицы прячут головы под крылья. / Трава дрожит в черной воде. / Медленно он облетает озеро, / Голову вытянул вперед, вперед, вперед, / Железные крылья секут камыш, / На колени падают лозы. / И вот стрелок начинает бить, / Безумными пальцами ищет патроны, / Бьет и бьет, а Мертвый Селезень свистит / Все ближе, все ниже над головой. / И когда утро встает, измученная в смерть / Битвой у черного бора, / лодка, полная воды до краев, / Качает тело с поникшей головой. / — Тело стрелка, убитого вчера / Его последним патроном».

С. 84. *Вночі ... хмар* — «В ночи / Звенит / Комар. / Встают поля, выпрямляются рощи / И реки поднимаются к облакам. / И кто я, я не знаю ночью / И какой век наступит завтра / И не / утка ли то вскрикнула во сне. / В ночи / Звенит / Комар. / Встают поля, выпрямляются рощи / И молча поднимаются к облакам».

С. 92. ...*било* — колотушка (укр.).

С. 94. ...*анциболотом* — Анциболот — в украинской мифологии болотник, болотный черт, иногда предводитель болотных демонов.

С. 96. ...*тартар* — В греческой мифологии Тартар — глубочайшая бездна под подземным царством Аида, служащая местом страданий грешников и тюрьмой для побежденных олимпийцами титанов и чудовищ (откуда, собственно, и «тартарары»).

Прозаик, поэт, драматург, литературовед, переводчик и критик Майк Йогансен (настоящее имя — Михаил Гervasиевич Йогансен) родился 16 (28) октября 1895 г. в Харькове в семье учителя немецкого языка Гervasия Андреевича (Генриховича) Йогансена, из остзейских немцев; мать, Ганна Федоровна Крамаревская, была выпускницей женской гимназии в Харькове и происходила из старобельской казацкой семьи.

Йогансен окончил Третью харьковскую мужскую гимназию, где учился вместе с будущими знаменитостями — поэтами-футуристами Божидаром и Г. Петниковым и писателем-географом Ю. Платоновым. С 14 лет подрабатывал репетиторством. Еще в гимназии писал стихи на немецком и русском языках, но, по собственному признанию, больше интересовался футболом и математикой.

Поступив в Харьковский императорский университет, в 1917 г. защитил дипломную работу на тему «*Ablativus absolutus* и другие самостоятельные падежи в латинском и греческом языках» и получил степень магистра филологии (помимо классических, Йогансен владел немецким, французским, английским, славянскими и другими языками).

В 1918-1919 гг. начал писать на украинском языке — по мнению Йогансена, это выходило у него «естественнее» — и увлекся марксизмом. В голодные годы Гражданской войны умерли его отец, брат и одна из сестер. Преподавал в Полтаве, с 1920 г. в Харькове (педагогическая профшкола им. Сковороды, Харьковский институт народного образования). Входил в коллегию художественного сектора Главполитпросвета, преподавал в школе художественного слова при клубе «Коммунист». Одновременно стал активным участником литературной жизни, начал публиковаться в газете *Вісті ВУЦВК*, журнале *Шляхи мистецтва*, альманахах *Жовтень*, *На сполох*, *Штабель*. В 1921 г. вышел первый сборник стихов «Д'горі».

Описывая эти годы в одной из автобиографий, Йогансен указывает, что «составил манифест для сборника “Жовтень” (“Универсал”) в конструктивистском духе ([В]. Коряк исправил соответствующие места, и манифест стал иным — из формального сделался в основном агитационным). В “Шляхах мистецтва” вновь писал “конструктивистские” статьи, будучи абсолютно незнакомым с тогдашним конструктивизмом и вкладывая в это слово собственный смысл. На учредительном собрании литературной организации предлагал присоединиться к футуристам (1920-й г.), но покори́лся большинству».

В 1923 г. Йогансен стал одним из основателей союза пролетарских писателей «Гарт» и вошел в центральное бюро организации. В 1924 г. выступил и как прозаик, опубликовав в периодике ряд отрывков из романа «Приключения Мак-Лейстона, Гарри Руперта и других». Роман и сборник рассказов «17 минут» вышли в 1925 г.; в том же году Йогансен в числе других литераторов покинул «Гарт» и основал Вольную академию пролетарской литературы (ВАПЛИТЕ). После вынужденной самоликвидации этой организации, подвергавшейся постоянным нападкам властей, основал «Техно-художественную группу А» (1928-1931), вместе с участниками группы издавал *Універсальний журнал*; также был инициатором создания альманаха *Літературний ярмарок* (1928-1930).

В 1928-1932 гг. Йогансен опубликовал по частям повесть «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию». Несколько лет он оставался на положении «попутчика», но в 1934 г. вступил в Союз советских писателей Украины.

Перечислить все увлечения Йогансена достаточно трудно: он охотился, ездил на велосипеде, путешествовал (хотя и не заезжал дальше Дагестана и прикаспийских степей), хорошо играл в футбол, бильярд, шахматы и теннис, переводил на украинский Шекспира и Шиллера, Э. По, Р. Киплинга и Г. Уэллса, писал литературоведческие труды, выступил автором ревью «Алло на хвилі 477» для театра «Березиль» и соавтором сценария фильма А. Довженко «Звенигора» (правда, радикально переработанного режиссером); ко всему прочему, Йогансен считался большим мистификатором. Его творческое наследие включает девять книг поэзии и десять — прозы, шесть книг репортажей и путевых заметок и несколько книжек для детей.

В конце жизни Йогансен работал над тем, что называл «масштабным полотном», посвященным Харькову, однако его незаконченный автобиографический роман «Югурта» был конфискован НКВД при аресте поэта и писателя 18 августа 1937 г. Арестован Йогансен был в своей харьковской квартире (жил он в пользовавшемся недоброй славой кооперативном доме «Слово», откуда в 1930-е гг. были «взяты» в лагерь и на смерть десятки украинских литераторов).

27 октября 1937 г. Йогансен был расстрелян в Киеве по обвинению в участии в «антисоветской националистической организации, ставившей целью свержение Советской власти методами террора и вооруженного восстания». Посмертно реабилитирован в 1958 г.

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.